

Трофейное кино

Рассказы

В СТИЛЕ РЕТРО

I

Так я и не понял в тот день, что заставило меня свернуть вдруг с главной аллеи парка и зайти на площадку, где раньше грохотали американские аттракционы для детей.

Что меня подтолкнуло? Может, то, что площадка была пустая, и ее пространство – пространство бывшего футбольного поля стадиона «Пищевик» – притягивало меня, будто магнит, как и когда-то в юности? Положив на большой камень газеты, я сел у края этой площадки, ни о чем не думая, ничего не желая и потому ни о чем еще не жалея.

Передо мной была как бы такая огромная впадина светлого-голубого, чистого неба. Оно будто снижалось тут, незаметно переходя в солнечный свет над ровной серой площадкой, старыми постройками за ней с улицей с трамвайными проводами. Небо словно падало со своей бесконечной высоты сюда, как в глубокую долину. Ее левым обрывистым берегом были высокие старые тополя главной парковой аллеи, вся сплошная зелень за нею. А правым – липы и тополя, что идут к мутной Свислочи и потом склоняются над ней с улицы Янки Купалы.

II

А потом я увидел, что сижу в метрах четырех от бывлой линии некогда, казалось, навечно вкопанных тут футбольных ворот. От того места, где я когда-то столько летних часов протоптался и протанцевал в черном свитере с белой единицей на спине, в азарте или мандраже покрикивая на своих то потерянных, то чересчур самоуверенных защитников.

Тут я сжимался в комок перед пенальти. Тут упирался шипами буц в скользкую, как лед, землю под лужей в углубле-

нии, вытоптанном всеми вратарями Минска. Тут приходилось тяжело при угловом ударе противников, потому что в такой момент один из них нередко блокировал спереди, а другой толкал локтями в спину, пользуясь тем, что судья не видел этого из-за толчеи во вратарской площадке – как он вообще ничего не видел даже у себя под носом, в центральном круге, где, будто бы в подкате, просто уже косою косили и вставляли в кости так, что не дай Бог...

И я снова увидел и услышал всю ту игру – игру той далекой поры, того далекого возраста. Да, не теперешнюю усталую игру в молчание перед придурком, чтобы не скосить его одним словом... Не ту игру с собой, когда уклоняешься от взгляда брошенной собаки, полного невыносимой надежды стать нужной тебе и вобравшего, как и глаза лошадей, вековечную, терпеливую тоску всего живого на свете... И не игру со стараниями обмануть тревогу, уменьшить горечь обиды, непонятной вины и невозможности оправдания – если уж нельзя преодолеть, переиграть этого ни воспоминанием, ни надеждой, ни работой.

Нет, не эти игры уже безнадежно взрослых людей видел я, сидя на краю бывшего футбольного поля, за своими когда-то настоящими, а теперь воображаемыми воротами.

С близостью, от которой даже делалось как-то не по себе, видел я ту, единственно нужную для меня в эти минуты игру. Я видел, что наши нападающие уже начинают огрызаться друг на друга, потому что у них ничего не выходит. Я понимал, что наших молчаливых, выносливых полузащитников вот-вот окончательно вымотают эти крепкие, стриженные наголо бычки-боровички, солдатики из «Белполка» внутренних войск. Они работали как вымуштрованный взвод, не сбавляя темпа, сосредоточенно, только перекидываясь игривыми репликами людей, которые поймали и уже ни за что не упустят свой шанс.

Снова, точно это было вчера, я слышал, как их капитан, «десятка», поблескивая золотой фиксой в улыбке, певучим рус-

ским тенорком, рассчитанным на зрителей, то ли приказывал, то ли просил:

– Ладненько, Игорек, теперь простреливай!

Или:

– Он же замучил нас, сажай его на точку.

Шел второй тайм. Наша оборона все чаще проваливалась. Они упорно, молча давили, и подступала уже какая-то тоска. У них было не выиграть нам, даже не спастись в ничьей. Тут не желание и не умение решали, нет. У них с самого начала была уверенность в своем перевесе – как в правоте. Они как бы и не обращали на нас особого внимания, просто делали свое дело среди нас и все.

Кажется, только однажды, при штрафном ударе, их капитан бросил чуть раздраженно в мою сторону своему черненькому левому крайнему:

– Ашотик, пусти низом этой каланче. Надо кончать их.

Ашотик, падла, саданул точно из пушки. Раздалось тугое «тбупп» – а мяча не было видно. Спокойный кавказец расстреливал стенку из наших ребят, рассчитывая на щель в ней, если кто дрогнет, или на рикошет.

И тут мы увидели, что Миша Кандыш корчится на траве, подтягивая колени к подбородку. Мы бросились к нему.

– Что, в яйца, Миша?

– Выше, под дыхало, – сказал судья Гриша Бильдюг, глядя на секундомер. – Вставайте и не симулируйте. А вы займите свое место в воротах.

Вскоре я начал нарочно медлить, тянуть резину, вводя мяч в игру ударом с земли. Но Бильдюг возмущенно заверещал своим, похожим на милицейский, свистком, холуевато поглядывая на капитана «Белполка». Все стало ясно. Игра была ихняя. Но мы плевать хотели. И еще хотелось, чтобы мяч, который они рано или поздно все равно забьют, был не моей пенкой, а такой, что и трактором не вытащить, и чтобы Жанна увидела мой отчаянный бросок в нижний угол.

Вечерело. Зрители затихли, молча лужгали семечки в фиолетовой дымке от папирос. Со стороны реки тянуло прохладной сыростью, там заходились лягушки. Из-за насыпи древнего велотрека поплыла музыка танцверанды. Впереди, за чужими воротами и выше их, на Первомайской улице останавливались красные трамваи. Сыпались медленные жирные искры с дуги, а под ней, на рекламе цирка белели слова: «Львы Ирина Бугримова Львы».

Наши перешли на отбойную игру в глухой обороне, прижимаясь к своим воротам и тревожно торопя меня при навесах на них: «Твой, Толя! Пошел!» Я не знал еще, что мы, наш юношеский «Спартак», командочка друзей, родившихся и выросших тут, в Минске, упрямся в этом матче, точно рогом в землю. И эти военные, заставив служку Бильдюга присудить им право на пенальти, не веря своим глазам, влепят в перекладину, а добытая нулевая ничья станет для нас победой.

Я не знал еще этого. И когда кто-то из наших с хриплым усталым ругательством выбил мяч аж в аллею, за зрителей, я увидел, что Жанна идет там с Борисом к выходу, опустив голову и слушая его, с черной узкой сумочкой в руках, и даже не глядит не то что на меня, но и вообще в сторону поля.

Ну так о чем еще тут говорить?

III

Разве о том, куда они могли пойти? Только не на танцверанду. Мы не любили этих мест ни в старом парке, за «Пищевиком», ни на «Динамо». Там, даже если ты был знаком с самим Вальтом или пил с Толей Хотенчиком, боксером-тяжеловесом, – там все же можно было, в принципе, на что-нибудь нарваться, напороться, особенно если ты с девушкой. Потому что за девочками, едва успев переодеться, сюда и бежали после своих сроков в зоне или амнистии исхудавшие, легкие волки с голодным металлическим блеском в жадных и беспощадных глазах.

Тут их ждали боевые подруги, словно бы равнодушные, с опущенными, в черной краске ресницами. Но воздух был всегда наэлектризован. Здесь был свой мир: свои законы, ревность, предательство и месть, преданность, игра и страсть, порой смертельная, на острие ножа. Мир этот был открыт для тех, кто жил в нем.

И потому они, Борис и Жанна, скорей всего, пошли тогда на главный городской проспект – «бродвей», как звался он в то время во многих городах. А может, на киносеанс в клубе на Комсомольской, который теперь называется клубом имени Дзержинского, а в той далекой нашей жизни был просто клубом «Эм-Гэ-Бэ». И хоть бы раз кто-то из нас задумался тогда о какой-то государственной безопасности! Ничего удивительного: о похоронах Сталина мы перестали говорить уже через два дня – телевизоров не было, а радио никто из нас не слушал. Жаль только было, что позапрещали на неделю танцевальные вечера в школах и институтах.

Поэтому мы, люди стиля, спокойненько прохаживались по своему бродвею, от главпочтамта и до Энгельса. Мимо художественного салона, парикмахерской, аптеки и гастронома с башней и часами. Мимо кафе «Весна», хлебного магазина... А рядом был известный на весь Минск чудесный винный магазин, весь в зеркалах и хрусталях внутри, с сияющими люстрами над головой. Туда на первом, начальном круге, мы каждый вечер заруливали на заправку.

Да, мы прохаживались по своему проспекту, красивые и юные, в своей привычной и любимой атмосфере детей асфальта, людей центра. Курили сигареты «Ява» и «Дукат», а потом «Шипку». В длинных, сначала синих, позже белых и желтоватых плащах и в серых шапочках-букле с короткими резиновыми козырьками. А как только пробьется солнце в конце марта – уже без шапок, чтобы не смять старательно взбитый кок или не нарушить безупречный пробор.

От Жанны и Алины сладко и тревожно-остро пахло духами «Ландыш» и «Кармен», вином и шоколадными конфетами. И когда мы однажды шли под башней гастронома с часами на ней, кто-то показал на башню дворца госбезопасности напротив и объявил нашим красавицам:

– А вот оттуда уже виден ваш Магадан.

Алина, старшая из сестер, среднего роста, и абсолютно не похожая на нее, высокая тонкая Жанна были дочерьми геодезистов-картографов и приехали в Минск из Магаданской области, из поселка Ларюковое. Когда им было хорошо, когда они были, как сами говорили, уже в по-о-олном порядке, то после наших сипящих пластинок, обнявшись, пели:

Будь проклята ты, Колыма,
Что названа райской планетой,
Сойдешь поневоле с ума,
Отсюда возврата уж нету...

Они были добрые девушки. Я знаю, что говорю. И главное, с ними было легко. Потом уже не было таких, а жаль.

В хорошие свои минуты они могли вспомнить или придумать – какая разница? – что-нибудь о лагерно-концертной жизни великих людей той райской планеты, Вадима Козина, например, или Эдди Рознера. Эдди, к слову сказать, скоро и сам приехал в Минск на правах старого знакомца, заслуженного артиста БССР, со своим, каким-то чудом снова собранным джаз-оркестром из варшавских и берлинских евреев, из которых никто почти не говорил даже по-русски, не то что по-белорусски. «Тиха вода бжеги рве...»

Балкон театрального зала Дома офицеров едва не обрушился, такая толпа там собралась. А на подступах к главному входу была такая свалка, что, божились, кто-то угрожал уже стрелять.

Однако мы в то время кое-что знали и о другой музыке, которая долетала-таки из-за Железного занавеса, сквозь треск

и визг могучих глушителей империи. Из завезенных из Германии трофейных «Телефункенов» и «Блау-пунктов» звучал порой густой, как мед, с тембром какой-то почти нечеловеческой красоты голос Уилиса Кановера. Хрипло ревел и тягуче мяукал, как большой черный кот, Луис Армстронг. Нежно раздирала душу Эллочка Фицджеральд. И всегда безупречно, как отлаженная, хорошо смазанная машина, работали старатели-мастера Глена Миллера.

Что-то просто мешало дышать, когда они, как сумасшедшие, заводились в своей гениальной на все времена «Дороге на Чатанугу». И так странно было узнать потом, что все содержание сольного текста в этой вещи можно свести к тому, что кто-то спрашивает: «Скажите мне, ребята, так это тут проходит дорога на Чатанугу-чучу?»

IV

Все это так. Но почему-то ни Жанна, ни Алина, ни какая-нибудь другая из тех девушек так и не стали чем-то большим, чем выразительный момент, не осветили ту пору как более глубокий, долгий смысл. Никто из нас, наших приятелей, знакомых, продернутых в газетных фельетонах, изгнанных из школы за самодеятельное участие в убогих ресторанных оркестриках – никто из нас, форсистых, фанаберистых обитателей городского центра, так и не нашел тогда ту, которую подсознательно искал для себя где только мог.

Мы не нашли ее ни на танцверандах, ни во дворах, ни в культовых тогда для нас фойе и кинозале «Победы». Ее не было и в единственном тогда на весь Минск бассейне Дома офицеров. Хотя иной раз ныло в груди, екало под ложечкой, когда девушки в черных купальниках выбирались там из зеленоватой, с запахом хлорки воды, и можно было вдоволь рассматривать их как красивых морских котиков, от мокрых лоснящихся волос на голове до узких розовых пяток.

Нет, мы не могли найти ее для себя в том времени, когда, казалось, искали так нетерпеливо и настойчиво. Может, если наконец что и сбывается в жизни, то только когда перестаешь этим бредить? Когда высвобождаешься из плена неотвязного желания?

И вот уже было другое время, другой возраст. За окнами шли шестидесятые.

Давно уже не было слышно в Минске золотой трубы Эдди Рознера. И даже во сне еще никто не видел, что к нам придет сам герцог джаза Дюк Элингтон и будет выступать со своими седыми ребятами во дворце спорта. Минское «Динамо» после «Спартака» называлось «Беларусь», и в воротах там давно уже не было Хомича.

На студенческих вечерах танцевали пижоны в «атомных» пиджаках. Лабали мелодии песен Фрэнка Синатры, все ту же вечную «Чатанугу» («чучу»), а то и мотив из тоже мифологического уже американского фильма «Судьба солдата в Америке»:

Засыпай, усни, мой грустный бэби,
Улетай, печали след.
Выдумал беду мой глупый бэби,
А беды-то вовсе нет...

И вот однажды, в конце марта, что-то будто подбросило меня, сорвало с места и погнало от стола с начатым дипломом на улицу, под мокрый снег с дождем.

Куда я помчался и зачем? Есть в жизни дни, когда такого вопроса не должно быть. Тогда я это чувствовал, а теперь понимаю.

Меня понесло в наш университетский городок. Студенческий вечер в корпусе химфака начинался сонно, скучно. Меня оттуда что-то сорвало, понесло еще куда-то. Когда выбежал, началась весенняя метель, и я увидел сквозь нее, возле мединститута высокую девушку в большой шапке. Раньше я тоже замечал ее на улицах. Может и было что-то в ней, а может – нет, кто ее знает. И, как и раньше, я пролетел, забыл.

Дальше как-то с провалами... Но потом снова все сошлось: химфак, старое, еще довоенное здание с высоким и широким каменным крыльцом. В пустой аудитории были танцы с радиолой и динамиком. А в первом, полупустом ряду стульев, в каком-то темном облегающем костюмчике сидела девушка, в которой я узнал ту, в метели, в похожей на казахскую, большой шапке. Теперь, без этой шапки, она была настолько моложе и красивее, что я даже обрадовался этому. И когда подошел и она поднялась навстречу, улыбнулась, когда послышался ее голос, приветливый, школьно-доверчивый, – во всем увиделась открытая готовность к этой встрече, которой будто было не миновать, с веселым удивлением: почему не раньше?..

Вот так, не сразу, правда, но потом в конце концов связалось, как бы под знаком той девушки, все в одно. Юность, ее запальчивость, кураж и беспокойство, слепая жажда удовольствий, резкость, риск, хождение по лезвию ножа – и первые, неясные еще толчки мысли и слова, первые разрушения немоты и продираание к тому, что мысленно не охватить и до сих пор, на что и сейчас не хватает слов.

И летело время, а казалось, что оно стоит на месте. Однажды, когда на стеклах растаяли листья морозного папоротника, мы с приятелем стояли у моего окна и наливали в стаканы густой, темно-красный, золотистый коньяк с белой шапкой Арарата на наклейке.

Напротив были огромные арковые окна клуба «Эм-Гэ-Бэ» – громада этого здания госбезопасности почти не пропускала солнце в квартиру все шестнадцать лет, что я там жил. Мы звякнули стаканами. Стало так солнечно и тепло, как в Араратской долине. И в эту самую минуту в высоком окне клуба через улицу, вровень с нашим третьим этажом, на фоне белых колонн фойе с золотыми люстрами появилась та, уже хорошо знакомая мне девушка – высокая, черноволосая, в белом платье с открытыми чуть выше локтей руками, увидела нас и стала звать жестом руки в тот зал, к себе, быстрее.

Еще и до сих пор я могу мысленно пройти тот путь с моим приятелем. Скатиться мячом по лестнице во двор, дальше – под высоченную арку (ветер и снег в лицо), потом направо, вдоль большого книжного магазина и за угол, с проспекта на Комсомольскую... А шапки еще не надеты, а пальто и костюмация нараспашку – так согревает нас далекий Арарат. Теперь подъезд, ступени, стеклянные наполовину двери с тускло-блестящими, будто из меди, поручнями. И запахи духов, сигаретного дыма, зимы – и голоса.

И вот что странно. Показалось на минуту, будто здесь все, как и тогда, в ушедших юношеских пятидесятых. Не городской бал молодежи, а снова черно-белое трофейное кино с субтитрами по-русски. Да – «Леди Гамильтон» и «Познакомьтесь с Джоном Доу», и «Восьмой раунд», «Во власти доллара», «Торговцы смертью» и «Дорога на эшафот», а может, и сама «Судьба солдата в Америке».

Показалось, мы еще уличные огольцы, которые завидуют свободе невозмутимой, с налетом чего-то иностранного, красавице Эвелине и ее неизменному спутнику Борису Щербакову, боксерскому тренеру и судье, единственному человеку в Минске, ходившему зимой с непокрытой головой.

Показалось, мы еще те, из дворов-пещер, которые собирались вечерами в этом богатейшем в городе зале «Эм-Ге-Бе», с бархатными креслами и портъерами в белых округлых лужах, с красивой лепниной на высоченном потолке, сложными барельефами, карнизами и матовыми плафонами... И будто снова тут будут Нэля и Тамара, на сцене – ринг, а рефери в ринге, разумеется, Борис Щербаков в белых, остро отглаженных брюках и в галстучке-бабочке, которых нигде больше в городе не увидишь. Но кто-кто, а уж Щербаков этикет и законы большого боксерского мира знает. И, указав обеими руками на середину ринга, он властно, как в «Восьмом раунде», выкрикивает:

– Бокс!

А его друг, Феля Каштанов, в перерыве из-за канатов поддерживает эти откуда-то им уже известные традиции как диктор-информатор с микрофоном:

– В левом синем углу – бронзовый призер чемпионата Минской области (многозначительная пауза) Жорес Литов!..

И Жоркина подруга Рема Свинкина даже всхлипывает...

V

Но нет, все это уже было, ныло и прошло. Все это сплыло, и идут шестидесятые.

Уже летают космонавты, а я все летаю по городу за той девушкой, что махала рукой за окном через улицу. Уже есть уверенность, что ухватишь за хвост жар-птицу, но нет болезненной, дурацкой лихорадки, а с футболом завязано.

Уже мы ведем бесконечные беседы с моим соседом и другом, философом. Его имя такое далекое от всего серого и скучного в нашей лучшей на свете стране, что кажется мне красивым и свободным.

И долгими зимними вечерами, ночами мы с ним – назовем его тут Анри – сомнамбулами покачиваемся на лестничной площадке в синеве сигаретного дыма, как под водой, греем руки на батарее отопления и говорим обо всем, что интересно только нам.

Мы наблюдаем ночной старт первых международных авторалли, о чем через несколько лет услышим, с упоминанием нашего Минска, во французском фильме «Мужчина и женщина».

Анри открывает, что название нашего города присутствует в суперинтеллектуальном романе Томаса Манна «Доктор Фаустус», а у Конана Дойла, кроме Шерлока Холмса, есть еще какая-то «Засада в Минске».

Только с Анри ведем мы самые важные свои симпозиумы по проблемам женщин. С ним же обсуждаем что-то из Фрейда и Ницше, каменяя на морозе с примерзающими к губам сигаретами, когда наши хоккеисты под электрическими лампами среди ночного города бьются с рижской «Даугавой».

Мы столбами стоим в своем темном дворе и смотрим на желтые квадраты окон, звездное небо, и Анри говорит:

– Я знаю человека, который все эти революции и войны не расставался с томом Гамсуна. Даже когда у него ничего больше не оставалось.

Он говорит:

– А Достоевский? Он же всю жизнь боялся только одного – что не успеет высказаться. Понимаешь?

И я понимал, потому что запомнил эти слова навсегда и даже сделал их первой фразой своей книжки.

Мы стоим с Анри возле арки нашего дома, на своем всегдашнем пятачке, между центральным книжным и кондитерским магазинами. Мы рассматриваем молодых женщин в людском потоке на проспекте перед футболом. Недавно мы прочитали «Особняк» Фолкнера и вышучиваем его стиль, заметив мелькнувшую знакомую в толпе:

– Но ведь она как будто замужем.

– Она замужем с самого начала, как написал бы этот фермер, – говорит Анри. – Нет, я б ему проставил знаки препинанья...

Мы включаем магнитофон и ставим на проигрыватель Грига, его «Пера Гюнта». Я уговариваю Анри читать под эту музыку рассказ Бредбери «Вельд» и клянусь, что запишется что-то неслыханное, такой у него бас.

А однажды мы узнаем, что застрелился Хемингуэй, и целый день прошатаемся и просидим в своем дворе. И Анри будет повторять:

– Старик не выдержал... Не выдержал.

Но перед следующей весной, как-то в середине мутного рабочего дня с оттепелью, мы пойдем неспешно через проспект, в овощной магазин и, не отвлекаясь от своих фантазий, всякой метафизики, почти машинально возьмем шампанское. Вот что такое свобода: это молодость – и только. Мы придем ко мне, и он, кажется, заговорит о том, что любит в жизни. Поэтому что я вдруг совершенно невпопад брякну что-то о девушке, имя которой Анри давно знает. И он тихо и твердо скажет:

– Молодец.

А поздним вечером мы привычно сидим у телевизора в его комнате, в душе симпатизируя канадцам – и тем сильнее, чем громче заходится в своей патетике Озеров. «Такой хоккей нам не нужен!» А нам нужен такой хоккей.

VI

Да, все вот это и еще многое, многое другое вижу я, вглядываясь то в небо за окном, то в исчерканные бумажные листы, где пишу эту свою Минскую сагу из эпохи черно-белого кино.

Все мне кажется, что и давнее, и близкое поминутно перетекают одно в другое и меняются местами. Только почему все чаще подступает такая жалость ко всему, что было и что есть? Почему так жалко тех людей прошлого, что жили вечной горестью-борьбой, их и душевной, и убогой, и жестокой жизни? Да и людей сегодняшних вокруг, себя, своих родителей и близких, или далеких, неизвестных, будущих?

Темно уже за окном. Я вижу густую синеву вверху и серпик месяца, тот самый, что еще видели какие-то неизвестные мне люди, сооружая египетские пирамиды. И я снова вижу ту девушку в высоком окне-арке белого бального зала, а она видит в моем окне меня и делает мне знаки рукой. Я даже слышу ее голос, она зовет меня. И я встаю из-за стола и иду в другую комнату. Здесь сонный мягкий полумрак, подрагивает свет

телеэкрана, слышна тихая музыка и голоса. Я смотрю мимо, выше – в небо за окном. Там в темной синеве медленно плывет крестик из маленьких огней. Это самолет, в котором навсегда улетают отсюда друзья моей юности с минского бродвея. А с подоконника спокойно, неподвижно глядят две полные желто-зеленые луны – глаза кота.

Я слушаю телеэкрaн, не глядя на него. Не было бы ничего удивительного, если бы сейчас послышался чей-то голос из тех давних фильмов с титрами внизу кадров. В конце концов, ведь может же хоть что-то оставаться на своих местах?

И тут я действительно слышу мотив оттуда, из той далекой, но и близкой еще жизни. Мотив, который я узнал бы всюду и всегда. Он звучит точно так же, как и звучал, вот удивительно. Тогда я нажимаю кнопку и гашу экран.

ПОРТ-ЭЛИЗАБЕТ

Войдя в свой номер, он положил на кресло пальто, кашне и аккуратно прилег на прибранную после дневного сна постель, не снимая пиджака и обуви, как любил ложиться всякий раз, оставшись, наконец, один после концерта перед отъездом на вокзал. Только теперь он понял, что с самого начала ему хотелось даже не столько повидать знакомые места в этом далеком уже навсегда от него городе, как просто в нем побыть, особенно не разглядывая ничего, а лишь проникнувшись вот этим ощущением собственного нахождения здесь, тем более, уже освободившись от всех дел.

Он лежал, глядя на дробящийся свет люстры, оставленной перед уходом включенной, как и настольная лампа и плафон в ванной, – привык, возвращаясь поздними вечерами в кочевое гостиничное жилье, с порога видеть его освещенным, похожим на домашнее. Болела спина, давшая знать о себе сегодня раньше обычного, – стоило встать из-за рояля, чтобы

раскланяться в конце. Во время выступления в полной мере так и не пришла жаркая легкость того подвластного ему волнения, которое давало смелость внутреннего взлета, но и вело его в исполнявшейся вещи твердо и точно, на глубине сосредоточенного чувства.

Сергей Александрович еще днем смутно угадывал неладное. Ничто не вызывало явственного отклика, когда они с Залевским, его импрессарио, плотным бородачом, вышли пройти в центральных кварталах. На сыром мартовском ветру город, в котором он вырос, был по-прежнему невыразимо близким. И Сергею Александровичу вспомнилось, как вчера он смотрел на плывшие в окне вагона скрещения дорог, шлагбаумы, станции предместий, не узнавая ничего, и ждал с детства памятного здания вокзала. Но вокзала не было: тянулась стена из серых бетонных плит, скрывавшая огромный котлован. Заметно было множество военных, милиции в чрезмерно пестрой на городском фоне камуфляжной форме. Готовился к какой-то встрече оркестр, несли знамена – и то ли показалось, то ли и в самом деле промелькнули красные повязки на чьих-то рукавах, напоминавшие дружинников его далеких лет студенчества.

Все начиналось когда-то здесь, у этих фасадов, арок, в скверах с чугунными решетками, возле колонн, у балюстрад и под фронтонами с цементными фигурами строителей, на улицах среди похожих на торты зданий с барельефами, лепниной. Словно подернутые патиной, они с неколебимой непреложностью покоились и высились на прежних, давно назначенных местах, в однажды установленном, ненарушаемом порядке, – и не отталкивали, не обдавали холодом чужого и ненужного, удерживая что-то теплое и дорогое. Ни пышные, тяжеловесные дворцы и храмы – армейские и государственных суровых служб, ни глыбы памятников с одинаковыми громадными ботинками вождей и поэтов над головами прохожих

не заслоняли и не оттесняли того, что было прожито и пережито здесь.

Но виделось это будто сквозь пленку или мутное стекло. Смущало вялое спокойствие при встрече с городом, покинутым шестнадцать лет назад, – с местом, где он женился, где родились обе дочери и где он стал на ноги как музыкант, преодолев сопротивление вовсе не слепой судьбы, – и вот теперь четвертый год работал за границей, подолгу там живя... Эта неслышимость живого звука прошлой жизни, молодости – как будто он уже не различал определенных, выпадающих частот – настолько огорчила, что захотелось вдруг немедленно повернуть назад:

– Я возвращаюсь, Лев Харитонович, простите, – сказал он виноватым голосом и по-немецки, чтобы смягчить перед Залевским свою невежливость.

День вышел неудачным, скомканным – впрочем, и вечер тоже. Слушали с тем вниманием заблаговременного, едва сдерживаемого восхищения, с которым слушают земляки в провинции. Были объятия старинных знакомцев, добряков. Пришли консерваторские профессора в нимбах светящейся и невесомой седины, старчески-цепкие в рукопожатиях, с растроганными, увлажненными глазами за стеклами очков. Но в первом отделении он смазал в двух местах и понимал, что это от них не укрылось. Его фотографировали, и он был уверен, что даже в профиль на его худом лице под серебрившимся пробормом читается выражение недовольства собой.

Приподнявшись и стараясь не задеть портрет Рахманинова в рамке, который всегда возил с собой, он взял со стола пачку купленных сегодня местных, республиканских газет, но положил рядом с собой, зная, что все равно просмотрит их не раньше, чем через два-три дня, уже не здесь. «Что же такое – место, где когда-то жил, – подумалось ему, – где что-то происходило на твоих глазах? Оно еще действительно существует,

когда оказываешься в нем много лет спустя, или тоже исчезло, прошло и кончилось вместе со всем происходившим тут, оставив одну видимость себя, свои обманчиво-неизменные очертания? А если оно остается и до сих пор, как неподвижный, никому, кроме тебя, не нужный в этой роли свидетель давнего, – то остается ли, пусть неприметной тенью, неслышным шепотом, дыханием или немым эхом, хоть что-нибудь из некогда случившегося здесь? Или же это – абсолютная пустыня прошлого, покинутая навсегда планета, где можно смело дремать в кресле-качалке посреди шоссе, по которому ветер метет пожелтевшие обрывки времени?»

Мерцал, едва припоминаясь, какой-то свет, несмело брезжила забытая, когда-то оборвавшаяся радость; и он увидел вдруг себя давным-давно, в тринадцать, что ли, лет – не тут, где он с мальчишками, высмеивавшими его нотную папку с завязанными бантом черными витыми шнурами, бродил лунатиком в подвалах под руинами, втягиваясь в жестокие и порочные игры, чтобы походить на всех, – не в этом, а в другом, недалеко отсюда, почти не разрушенном войной западно-белорусском городе на Немане. Они поехали туда с отцом через полгода после того, как в январе пятидесятого умерла мать. Отец, воевавший на разных фронтах и в последний военный год служивший переводчиком в контрразведке, учительствовал в школе; теперь же, приехав с ним, Сережей, в этот город погостить у маминой сестры, старался разузнать, нельзя ли найти работу и остаться здесь.

II

Стояло солнечное лето. В серо-зеленом, казавшемся очень высоким доме с глухими, глубокими балконами теткин балкон был крайним справа на верхнем, пятом этаже. Когда Сережа вышел на него, то понял, что лучше места жизни он не знал. Но в комнате, будто назло, стояло пианино, и ежедневно, по

два утренних часа он должен был сидеть за ним, даже в каникулы: желание матери, чтобы Сережа занимался музыкой, для тетки было свято. Зато потом он, можно сказать, поселился на балконе, до наступления темноты рассматривая пристально все далеко кругом и тихую, как тупиковый переулок, улицу внизу под старыми, большими кленами. За деревьями шла металлическая ограда городского парка. Там вечером играла музыка, горели фонари. Ночные бабочки в безостановочном паническом кружении неслись из темени к открытым освещенным окнам и, вспыхивая, пропадали в них.

С высоты, какой он не знал в развалинах своего города, Сережа подолгу следил за беспрестанным раскачиванием ветвей, за тем, как ветер гнул и мотал гибкие верхушки, как тербил, трепал и ворошил листья, как тряс, перебирал и дергал их, пытаясь оборвать, просто не вынося спокойного их вида. И без труда различал издали те живые ходы и коридоры, которыми ветер ходил в густых зарослях парка: властно пролагая себе путь, он там с налета разваливал на стороны безвольную листву, упрямо налегал на высокие акации, сирень и делал в них волны крылом на плавных поворотах, которые часто не доводил до конца, вспоминая иное направление, – тогда сложенные и вытянутые, как водоросли под водой, кусты освобожденно, с облегчением выпрямлялись.

На этом каменном балконе Сережа зорко и ревниво сторожил и полюбившееся ему уединение, и стрижей, косо резавших воздух, и небо, здесь уже не вызывавшее ТОЙ тягостной, непосильной мысли о бесконечности, когда внутри словно что-то натягивалось, готовое порваться.

В один из светлых вечеров, глядя на вытянутые в полнеба закатные полосы, Сережа услышал негромкий женский голос, повторявший доносившуюся из парка музыку. Он наклонился и посмотрел на балкон под собой. Черноволосая взрослая девушка в красном сарафане, незастегнутом, сидя на табу-

рете, красила ногти па ноге, упираясь ею в балконную стенку и помахивая ладонью над маленькими разведенными пальцами. Сережа слышал запах лака, ему хотелось длить подглядывание как можно дольше, и чтобы девушка была именно такой, какой и представлялась сейчас сверху. Но назавтра, когда встретил ее во дворе, с приятным удивлением убедился в другом: в ней было что-то как бы южное – он таких лиц не видел в своем городе; к тому же она была даже чуть старше, чем он думал. И получилось так, что он несмело ей кивнул – она ответила охотно-быстро, с короткой и приветливой улыбкой.

С этого дня он стал невольно везде искать ее глазами. Ему хотелось быть с ней знакомым, разговаривать. Он убеждал себя, что ждет удобного момента, но не мог выбраться из нерешительности, цепенел в стеснении, то злился, то смирялся, как бы не отпуская ее от себя, а погружался в мутную пелену причудливых выдумок, в скрытное наблюдение за ней из положений, не вызывавших, как он был уверен, никакого подозрения.

Но, может быть, что-то заметил или почувствовал отец. Однажды, когда Сережа заступил на свое утреннее дежурство на балконе, отец тоже вышел туда и, торопливо, нервно закурив и посмотрев на часы, сказал, обеспокоенный чем-то своим:

– Ты уже на своем посту... Я вот все бегаю... Да, не везет тому, кого не ждут. А где ты пропадаешь по вечерам? Ну, не скучай...

Он тронул пальцами Серезину макушку, глядя куда-то перед собой, и выражение лица у него было озабоченное, напряженное.

Прошло недели две. Сережа уже знал, что девушку-соседку зовут Тамара, что она играет в баскетбол – по-настоящему и очень хорошо. Она играла еще за девушек, последний год, но Кревич, ее тренер, руководивший и сборной города, заботился, чтобы она уже тренировалась у него в составе женщин.

Сереее нравилось в Тамаре на площадке все – от голоса, каким она переааликалаась с приятельницами, до привычки оттягивать пальцами потную майку на спине и опускать на щиколотках толстые белые носки в конце игры. Он не пропускал ни одного ее прыжка вверх, когда открывался смуглый впалый живот с крошечным темным углублением посредине. Но больше всего он любил смотреть, как Тамара, заняв позицию в обороне, разводя и подымая загорелые руки с бледно-розовыми узкими ладонями, старается помешать соперницам пройти с мячом под щит или прицельно бросить его в кольцо издали. Тогда ее ноги с литыми икрами и едва заметным пушком на голениах с упругой силой двигались в стороны и назад, широко и крепко упираясь в площадку, будто в пружинистом, придуманном Тамарой танце; и трудно было отвести от этого глаза. Когда же он хотел лучше разглядеть ее тяжеловатые, крутые бедра сзади, то сперва воровато косился на соседей по скамейке.

Тамара теперь играла каждый вечер на областных соревнованиях. Как-то, намного опоздав к началу, Серееа, не раздумывая, опустился на свободное место в первом ряду. Справа, согнувшись в три погибели, сидел Костыль – прозванный так ребятами инвалид, вечно торчавший возле спортплощадок или у пивного ларька в парке, где он пел тюремные песни. С землистым, в рытвинах лицом, заколотой пустой штаниной, костылем и палкой, он вызывал у Серееа ощущение чего-то неприятного, что могло бы произойти, окажись он с ним где-нибудь наедине. Но сейчас он не помнил об этом, уставившись в спину Тамары с номером шесть на майке прямо перед ним. Ее команда обступила Кревича во взятом им минутном перерыве. Высокий, мощный, с ярко-белыми зубами в неизменной полуулыбке и с той поблескивающей влажной прической, которую Серееа про себя называл загранич-

ной, Людвиг Кревич терпеливо, наставительно говорил что-то, глядя на Тамару и снисходительно не замечая ее показного невнимания к нему.

Она стояла в расслабленной позе, держа руки на поясе, – сдувала падавшую на лоб прядь, не подымая головы. И Сережа, не отрываясь, смотрел на обтянутый синими шерстяными трусиками тугой, красиво раздвоенный шар ее бедер – по внутренней их стороне хотелось провести ладонью, такими они казались там атласно-гладкими и теплыми.

– Что, нравится? – поощряюще ухмыляясь, спросил Костыль и, бросив на Сережу внимательный, с блатным лукавством взгляд, добавил доверительно и со значением:

– Она уже не цел... не целенькая, понимаешь? Можешь у тренера спросить.

Сережа со стыдным и приятным волнением почувствовал, что от этого запоздало смягченного уличного словечка Тамара не только ничего не теряет в его глазах, но нравится еще сильнее, становясь еще более притягательной. Он отсел от прокуренного, похожего на высохший гриб, Костыля с синюшными, в татуировке, кистями рук и тут же забыл о нем. Что-то остро волнующее уже поселилось в Сереже, какая-то сладостно-мучительная жуть – услышанное подтолкнуло и проявило то, что он и сам неявно чувствовал в Тамаре за повергавшей в робость разницей лет. Пытаясь следить за игрой и видя лишь Тамару, он ни о чем больше не мог думать, настолько она стала понятна вся, с тем тайным и влекущим, что уже было доступно, открыто ей, но заставляло его грезить вовсе не об одной Тамаре. И когда несколько дней спустя увидел, как она с рассеянным видом выходит из подъезда, слегка подавшись вперед и отводя локти, будто под напором ветра, то все новое, узнанное о ней и так странно нравящееся подступило до того отчетливо, что он даже растерялся на миг.

III

Июль кончался. Проливались отвесные короткие дожди, потом погода снова установилась солнечной и ветреной, как и тогда, когда они с отцом приехали сюда. Как-то иначе, интереснее смотрелся с балкона город: и сложная, с изломами, бурая крыша театра за морем парковой листвы, и желтый выступ Дома офицеров в сквозном пролете среди деревьев, и тусклое сверканье позолоченного купола церкви. Проходя мимо нее, Сережа в изумлении замедлял шаги – столько сплошного золотого света, выпукло-округлого сияния было вверху, и голубовато зеленевшие пятна этого не портили, а говорили о богатой старине.

В воскресенье недалеко от церкви встретился отец. Глаза его блестели. Он был смущен и в то же время весело смел, как человек, не смогший чего-то скрыть и махнувший на все рукой:

– А давай пойдем в театр! Правда, у них, по-моему, сегодня... В общем, собрание-заседание, концерт...

В фойе он остановился, объясняясь перед величественно-неприступной женщиной с воланами белых волос на голове, похожей на Ломоносова в учебнике. Та недовольно пожала плечами, но, отступив, отвернулась. Они поднялись на несколько ступенек и очутились возле закрытых голубых дверей. За ними торжественно безмолвствовал невидимый зрительный зал, важно отделившись от всего вокруг и уж подавно от них с отцом – случайных, допущенных сюда так неохотно.

Надолго прильнув к дверным створкам, отец неслышно приоткрыл их и, глянув в тяжкий полумрак, пахнущий одеколоном и конфетами, сказал, смешно кому-то подражая:

– А в глубине сцены утопал в цветах портрет... Станиславского.

Он сделал паузу в конце, и Сережа догадался, что эту фамилию отец подставил в последний момент. По лестнице с ковровой дорожкой они поднялись наверх, и, взявшись за мас-

сивную бронзовую ручку еще одних дверей, отец с притворным безразличием проронил:

– Он утопает, а буфет закрыт...

И, снова оказавшись и театральном сквере, Сережа, вздохнув, повеселел.

Утром, проснувшись в отведенной им теткой комнате уже один, он вышел на балкон. Привычно окинув взглядом свои зеленые владения под слепящим солнцем, Сережа, как уже делал не раз, заглянул сбоку вниз, на балкон Тамары. Тамара с растрепавшимися волосами лежала ниже подушек на коричневой от загара груди Кревича, ее руки медленно гладили его шею, плечи – и прежде чем Сережа выпрямился от страха быть замеченным, Тамара начала целовать Кревича быстро, от лица к груди, словно заторопившись или прося прощения, и в ее видной сверху лишь до половины спине с бледной полоской от бюстгальтера было что-то и благодарное, и преданное, и зависимое сразу.

Ошеломленный, Сережа собирался смотреть еще, глядя пока перед собой, на зелень парка впереди и ничего не видя, кроме загорелых тел в белой постели, – но тетка уже с грохотом выдвигалась из комнаты с тазом белья, в дикарском ожерелье из деревянных прищепок, и все пропало окончательно и безвозвратно, будто прервалось, едва начавшись во сне.

Теперь он знал тайну Тамары, и это резко выделяло ее из остальных, когда Сережа наблюдал за ней. Им все чаще овладевало ощущение того полузапретного открытия, которым мог распоряжаться только он и о котором можно было фантазировать сколько угодно.

«Она уже не целенькая», – повторял Сережа, и ему было приятно мысленно произносить эти слова: недоступно-взрослая Тамара вдруг приближалась так откровенно, что он видел себя уверенным и смелым, даже дерзким. А на балконе он уже царил над всем воображаемым о ней, над криками и хохотом вечерних игр у дома, где иногда Тамара с ленцой, вполсилы

играла своим большим мячом с соседской детворой и подпевала долетавшей музыке незвонким, округленным голосом: «В парке Чай-ир распускаются ро-озы...» Но после того утра ее балкон был всегда пуст, лишь бархатный тяжелый шмель кружил над настурциями в цветочном ящике.

Сережа замечал, что волнение, которое охватывало его не только при виде Тамары, но и при мыслях о ней, утихнув, оставляет после себя во всем обыкновенном неуловимую новизну. Везде каким-то образом была Тамара. О ней напоминало изменчивое дневное освещение, гудки машин, перила короткого моста через заросший овраг с ручьем, летние запахи у старых тесных магазинчиков на главной, Советской улице и маслянистая грибная сырость в еловых перелесках на высоком неманском берегу, где Сережа, натываясь на почти не таившиеся парочки в траве, бродил, представляя, как где-то здесь Тамара любит своего тренера.

Но лучше всего было о ней думать на хорошо обжитой балконной высоте при ветре. Тогда Сережа, стоя неподвижно, выпрямившись, тесно обхваченный шумным холодом, был полон непривычного веселья и свободы неясных радостных предчувствий, не помня ничего из беспокоившего и томившего его в Тамаре. Под неустанным ветром листва кипела и шипела, и невидимая сила, ни на минуту не дававшая покоя ничему вокруг и самой себе, была настолько явной, осязаемой, летела с такой стремительностью и неудержимостью, гудя в ушах и взметывая волосы, что становилась чем-то живым и необъятным, своенравным, не признающим ничьей воли, кроме собственной.

И, затаив дыхание, Сережа парил в этом свистящем вихревом потоке, взмывая или же снижаясь, проживая на лету любые мыслимые повороты будущей жизни.

В ясно очерченных, или с наплывами, картинах он видел себя взрослым, очень известным человеком – светловолосым и высоким, с умным и мужественным, волевым лицом, не-

броско и изысканно одетым: может быть, чемпионом мира, – нет, знаменитым джазовым пианистом, мягко и независимо, как бы в раздумье вступающим, когда смолкает многоярусный, ревущий и сверкающий своими трубами оркестр, – или же открывателем планет и звезд, спасателем животных, гипнотизером, исцеляющим от безнадежнейших болезней, невероятным фокусником-иллюзионистом вроде Кио или великим прорицателем и узнавателем замаскированных мучителей людей... Да, его имя объявляет радио и с фотоснимками печатают газеты, рисуют большущими буквами у входов на стадионы и на площадях, а в некоторых странах пишут прожекторами в ночном небе, так, что он плывет там, как на дирижаблях, на продолговатых облаках. И вот однажды...

Однажды он, который и сильнее и добрее всех на свете, не помнит никому обид, который превратил соперников в друзей и превозмог крушения, напасти, – однажды он, в сиянии заслуженной и небывалой славы, где-то сидит устало, скромно, не занимая слишком много места своей персоной, стараясь не привлекать внимания – но его узнают. Он это равнодушно отмечает, но ему не приходит в голову, что среди других уже несколько лет им остро, мучительно интересуется Тамара; она ездит за ним, живет в тех же городах, читает, слушает о нем и наблюдает издали, не узнаваемая им, его спутниками и помощниками; она с прической и в наряде дамы, по-прежнему с чем-то неуловимо восточным в смугловатом, с проступающей матовой бледностью лице, в больших коричневых глазах, – но потерявшая покой, разочарованная всем, мечтающая быть хоть чем-нибудь ему полезной, – и, наконец в один прекрасный день...

В один прекрасный день – неважно, как – они встречаются, почти столкнувшись, он хочет сдержанно поклониться и уйти, но Тамара останавливает его – а лучше, потупив взгляд, продолжает стоять неподвижно, хотя он уже отлично дога-

дался обо всем, – и совершенно не имеет значения, как они попадают на ту площадку мраморной дворцовой лестницы, напоминающую ложу или балкон: наверное, ему почтительно подали записку от Тамары... и, задыхаясь, на виду у всех, она соленым от слез ртом прижимается к его губам и глухо бормочет, счастливо постанывая:

– Я не могу... я не могу так больше, о-о-о!..

И здесь Сережа чувствовал, как щиплет в горле, а по коже разбегаются мурашки.

IV

В то лето, на так просто и чудесно обнаруженной, будто подаренной ему, укромной балконной вышке Сережа как-то по-особенному ощутил и понял ветер – и полюбил его навсегда. Он слышал, различал в ветре что-то несравнимо более одушевленное, чем лес или трава, ручей, река, – самостоятельную и нисколько не зависящую от земных существований жизнь, которая идет безбрежно, загадочно усиливаясь сама собой. Это течение, неведомо где начавшись, несло, чтобы нестись, и вовсе не затем, чтобы вертеть растопыренные лопасти мельниц, дуть в простыни обвисших парусов, наполнять дурацкие ветряные колпаки на захолустных травяных аэродромах или же развеять надетые на палки полотнища знамен и флагов, хоругвей, штандартов. Все это люди подставляют под лавины ветра, ловчат, стараясь отловить его или немного зачерпнуть из его прихотливой и бездумной силы, – а он, неуловимый, летит, как и летел, таранит пустоту, ничто не достаивая остановкой.

Прислушиваясь к обтекавшим его упругим струям ветра, Сережа думал о том, что они несли в себе то же тепло, прохладу, запахи и влагу, которые еще какие-то часы назад настаивались, собирались, веяли над далекими морями, побережьями и составляли дыхание стран, неразличимых отсюда ни в

какой бинокль, подзорную трубу, – тех мест, куда не попадешь, сколько бы ни мечтал.

В школе Сережиным любимым предметом была география. Он мог выигрывать споры у одноклассников, с закрытыми глазами указывая на большой настенной карте заданные ему проливы, острова, плато, атоллы, мысы; он наизусть докладывал высоты важнейших горных вершин и глубины бездонных океанских впадин, начиная с жуткой Тускароры. Он признан был непревзойденным толкователем таких манящих своими названиями вещей, как Гринвич, часовые пояса, экватор, роза ветров, меридианы и широты, фазы Луны и связанные с ними приливы и отливы, полярная ночь и северное сияние, зоны магнитных бурь, субтропики и тропики, сезоны проливных дождей – и уж, конечно, сказочные джунгли, саванны и пампасы, прерии, каньоны.

Но где ему уже заведомо и не было и не могло быть равных, так это в тщательном хранении в памяти доступных сведений о существующих на свете ветрах. Устойчивые летние и зимние муссоны, ровные постоянные пассаты, морские и береговые бризы, колючие неугомонные норд-весты и зюйд-весты; тревожный мистраль на юге Франции, знойные, губительные сирокко на Сицилии, самум, гигантскими волчками гоняющий смерчи песка в Сахаре над засыпанными караванами, страшный тайфун у Филиппин и разрушительные, со смертями, ураганы, которым, заклиная о пощаде, присваивают красивые женские имена...

Следя за тем, как облака упрямым ветром выносятся из-за крыши дома, Сережа увлеченно дорисовывал себе их предыдущие воздушные пути: целенаправленный и отрешенный пролет над сизой, со стальным отливом Балтикой; долгое, равномерное передвижение от Нормандии, над европейскими равнинами; влажные накаты с юго-запада, где далеко, в туманной мгле, раскинулась разбухшая в болотистых низинах

дельта Дуная; и теплынь, плывущая из Украины, с настоем высушенных трав, с неслышными уже остатками солоноватой свежести Черного моря.

В небе, в слоившихся, перегонявших друг друга, изменявшихся нагромождениях, то с чистыми краями, то расплывчатых, косматых, со шлейфами, столбами, башнями и скалами, Сережа узнавал и то, что может быть и было взаправду или на рисунках, и то, что приходило на ум вместе с дремотой.

Ветреным вечером в открытом летнем кинотеатре они с отцом просматривали до начала фильма небесное столпотворение, которое творилось будто для них двоих. Мрачные пропасти, ущелья с кинжальными багровыми разрезами, длиннющие сиреневые перья зловещих птиц, рыхлые одеяла великанов, гривы взбесившихся коней, оплавленные колесницы – и веселили легким узнаванием, и вызывали сожаление скоротечностью: хотелось задержать, не упустить и что-то сделать с ними. Уже светились на экране надписи, утробно грохотала маршем хроника, а они еще торопливо переговаривались громким полусшепотом: «Ну, а сейчас?» – «Верблюд!» – «А горб, Сережа?» – «Не надо, зато шея, голова!..»

Сидевшие впереди оборачивались, шикали, тоже посматривали вверх, потом окидывали их, как полоумных, недоуменно-раздраженными взглядами.

В те дни Сережа узнал еще два интереснейших занятия, запомнившихся на всю жизнь: рыбалку и запуск воздушного змея. Удилище до звона натянувшейся, почти исчезнувшей над блестящей гладью лески вдруг задрожало, и он уже как будто в пальцах держал струной напрягшуюся нить, на кончике которой отчаянно рвалось, водило руку что-то настолько перепуганное, крепенькое, живущее совсем иной, не человеческой жизнью, – что у Сережи промелькнуло: вот так же, не веря, ни за что не соглашаясь с внезапной несвободой, бились бы, дергались в кулаке всем своим тельцем мышь и воробей. И точно

так, как рыбу под водой, он ощутил и силу рвущегося из рук ветра: отец как сумасшедший мчался что было духу сквозь столбики полыни, лебеды, конского щавеля по поднятому над Неманом, будто над всем миром, берегу с катушкой ниток в вытянутой высоко руке; Сережа несся следом, метрах в двадцати, держа за хвост похожий на большой конверт бумажный четырехугольник с легкими щепами крест-накрест и по краям, – они бежали, пока отец не закричал, приказывая и пугаясь: «Отпускай!» Змея повело немного вправо, он взмыл, отец не прекращал свой бег, уже тяжелый и неровный, давая удлиняться нитке, и, взяв через минуту у него катушку, то тормозя, то позволяя ей вертеться, Сережа ощутил ладонью, пальцами почти такое же весомое, живое, плотное сопротивление жизни, не знающей людей, как и тогда, когда попалась на крючок плотва.

Случались и моменты, когда Сережа чувствовал в себе что-то, способное едва ли не приподнимать его при ходьбе, подобно тому, как в сновидениях можно перемешать пробежку с перелетами на несколько шагов, а при нетрудном дополнительном усилии в воздухе – и дальше. Так, без разбега, оттолкнувшись от желтой площадки, он замедленно взлетал, будто всплывал, взмахами рук удерживался у щита, пока, получив мяч, не посылал его в кольцо, где тот проваливался в подвязанную сетку без дна; Сережа двигался умело, ловко, без малейшего смущения перед Тамарой – ее лицо было обращено к нему; не удивляясь, он ощущал прикосновение ее рук, с нежной заботливостью приготавливавших близость, видел слегка печальную улыбку ласковой опытности и сочувствия.

– Порт-Элизабет, – сказала Тамара и повторила со спокойным одобрением: – Порт-Элизабет.

И он понял, что все должно произойти именно здесь. Утренний розоватый свет падал на улицу – широкую, пустынную, с наклонно росшими деревьями; трамвай с тонким шес-

том вместо дуги словно чертил по небу; кто-то стоял в тени на тротуаре в светлой и плоской шляпе – канотье, вспомнил Сережа из прочитанного где-то, – а на другой стороне улицы, у палисадника, наполовину закрывавшего одноэтажный дом, ждала кого-то женщина в белом плаще. Во всем была простая ясность, но длилось это слишком долго, тягуче, словно бы силясь обрести конечный смысл, – и при досадном пробуждении Сережа успел спасти, как после кораблекрушения, эти подробности вместе с названием места. Но где оно находится, не понимал и удивлялся.

На карте он без затруднения, часто чутьем отыскивал нужную точку за секунды. Но карты не было. Порт-Элизабет – эти знакомые из какого-то трофейного фильма слова, возможно, означали английскую колонию? На побережье Индии? В Новой Зеландии? Бывшая крепость, морской форт, некогда названный так первым комендантом, отважным офицером в парике с косичкой и со шпагой, в честь женщины, оставшейся на родине, за тридевять земель, и ждущей его там? Сережа вспомнил, что улица за парком и театром, на которой стоит церковь с позолоченным, в зеленоватых бурых пятнах куполом, носит имя Элизы Ожешко. Но не искать же в этом связи. И он спросил:

– Папа, а Порт-Элизабет – есть такой город? Где он может быть?

Отец с улыбкой посмотрел на потолок, собрал на лбу морщины:

– Надо подумать. Не помню. Где-то на краю земли. А что, с балкона твоего не разглядеть?

И начиная с того дня Сережа принялся переделывать все, видное ему с пятого этажа, на Порт-Элизабет. Над кромкой солнечного неба, там, где оно сходилось с лиловой полосой земли, было заметно такое же свечение воздуха; почти такие же тенистые палисадники окружали невысокие торцевые тре-

угольники крыш; и так же неподвижно, в задумчивом покое высились старые деревья. Людские силуэты неспешно передвигались вдоль стен, изредка сонно застывая на углах у перекрестка. Много поддавалось повторению как виденное где-то прежде: безмолвие порой безлюдной улицы, кирпичные ворота, белеющие деревянные ограждения, смутные очертания зданий в перспективе – и та особая притягательность скромной и скудной красоты, которая сохранялась благодаря голубоватому, тепло сияющему небу.

Только деревья были прямые в отличие от тех, что привиделись во сне: те выросли с наклоном, сообразил Сережа, под дуящими в одном и том же направлении ветрами – значит, на океанском побережье, в границах тропиков или поблизости. И он еще подумал, что вырастающие ИЗ земли стволы кленов и сосен, тополей и лип, секвой и пальм, дубов и баобабов – это и есть сама земля, выталкивающая себя на поверхность изнутри в виде деревьев с силой, которую нельзя унять, – как невозможно удержать ту нутряную мощь, с какой она вздымается горами и взрывается в вулканах.

Да, он открыл себе в то лето, в том городе на холодной, быстрой, с прибрежными водоворотами реке и Тамару, и ветер – но и остальное, обычное, тоже открылось с новой стороны: оно могло быть переименованным, происходящим в выбранных по его прихоти краях – и настоящим и придуманным одновременно. Он был единственным и полновластным обладателем, верным хранителем несметного количества четких и зыбких образов, причудливых и тающих картин, недолгих рассыпающихся звуков. И бесконечной чередой, неуследимо мелькали и наслаивались прозрачные обрывки впечатлений, мыслей – справиться, дать какой-либо порядок этому не хватало сил. Зато ни у кого на свете не было такого потайного хода, туннельчика к тому волнующему, необыкновенному, с горением щек, с испариной, когда, сжавшись в комок, он

до боли в глазах впивался в вечерний сумрак, высматривая внизу гибкую тень, скользющую под навесами ветвей, и ловя истончившимся слухом голос, подпевающий оркестру в городском саду. Никак нельзя было еще с такой же точностью, невольно, попасть в ритм пресекающей дыхание музыки – предощущения лучшего, что обещает жизнь. Ведь то, что нравилось, могло и продлеваться, и, пропадая, снова возникать, и не кончаться никогда.

V

Днем, посланный теткой в аптеку, Сережа встретил Тamarу, уже выходявшую оттуда. Она кивнула ему как младшему, приезжему и своему соседу, но как-то вынужденно, будто отвлекаясь от чего-то. А вечером, когда закончились соревнования, он, отойдя к аллее от площадки – по ней уже носилась ребятня, – долго глядел на Тamarу, стоявшую вплотную к Кревичу, опустив голову, с закинутой за спину фуфайкой тренировочного костюма. И видно было, что не тренер ее задерживал – она сама не уходила в раздевалку, упорствуя, чего-то добиваясь от него, смотревшего с застывшим выражением в сторону.

Как ни внимателен был Сережа, наверное, он что-то пропустил или не понял: Кревич ударил вдруг Тamarу по лицу, концы ее прямых волос взметнулись – и Кревич нанес второй удар. Она поникла, пошатнулась и, не удержавшись на ногах, села на землю; затем, опершись на руки, стала вставать с колен – медленно, некрасиво – и, поднявшись, пошла нетвердой походкой за удалявшимся Кревичем, а потом неуверенно побежала за ним мимо остолбеневших мальчишек.

Сережа с жалостью увидел, какая она сделалась покорная, на все согласная; ничто ей больше не могло помочь – ни голос, ни фигура, ни крашенные красным лаком ногти длинных пальцев – все, что ему так нравилось, было теперь не нужным ей – вот как не нужно уже было стряхивать с бедер и

трусиков налипший песок, помнить о том, как она выглядит со стороны и видят ли ее другие.

Дальше Сережа не хотел смотреть. Не понимая ничего в том, что случилось, он только чувствовал, как распадается и выцветает то, что началось у него этим летом здесь и что ему уже принадлежало: лицо Тамары, смуглость ее ног и умоляющая нежность ее рук, глядящих сильные плечи на подушках нижнего балкона, – и свой балкон, как наблюдательная башня, открытая ветрам, лучшее в мире место, откуда можно достать взглядом и вообразить все, что захочется, не посвящая в это никого, – Сережа привычно нашел его в просвете между листвой, когда свернул на узенькую улочку. И сразу же замедлил шаг.

Кто-то в широком черном пиджаке с торчащими плечами курил, облокотившись на переднюю балконную стенку. Дверь квартиры не была закрыта на замок. В прихожей тетя Нюра с плотно сжатыми губами взяла его за руку и отпустила, не зная, видимо, что говорить и делать.

– Шура, пришел Сережа, – сказала она нерешительно, точно боясь чему-то помешать, и повернулась к их комнате.

Там были отец и маленький, в погонах, человек – его фуражка и военная сумка-планшет лежали на плюшевой скатерти. С балкона вошел и тот, которого Сережа заметил с улицы.

– Ну, минут десять, я надеюсь, у меня есть? Чтобы собраться, – спросил отец.

– Есть, но мы ждем, – строго ответил маленький.

– Сережа, мы уезжаем, – спокойно сказал отец. – Домой. Нюра, ты собери ему...

Сережа вышел на балкон. Все обесцвечивалось, съеживалось, уменьшалось, будто утягивалось в широченную воронку и становилось грубо-простым и скучным, никаким. Листва внизу застыла в неподвижности. И, глядя на нее, он ощутил тихую, вязкую тоску, еще не зная, что пыльная зелень уходя-

щего лета при взгляде сверху уже всегда будет напоминать ему это чувство утекания жизни и невозможности его остановить.

– Пойдем, Сережа, – рука отца легла ему на затылок и притянула голову, ероша волосы.

Утром они вышли из вагона в своем городе. Двое, приехавшие с ними, стояли на асфальте рядом с отцом, курили и оглядывались.

– Вот ключ, – сказал отец. – Иди домой, а потом к дяде Коле. Слушайся его.

– А ты, папа? – спросил Сережа.

– Я скоро буду.

Но его больше не было, как мамы, – никогда.

VI

На столе зазвонил телефон. Залевский сообщил, что машину пришлют через полчаса.

– Спасибо, но отсюда до вокзала рукой подать: я знаю. Может, пройдем?

– И нет проблем, Сергей Альсанч. Встречаю в вестибюле, – густо пророкотал Залевский, испытывавший чуть ли не физическую муку даже при минутном ожидании.

Когда пришли, Сергея Александровича снова, как и вчера, удивило отсутствие издавна знакомого вокзального здания. Вместо него за косо летевшими в мутном электрическом свете хлопьями весеннего снега виднелась громоздкая постройка, которую он мог сравнить только со вздыбившимися в столкновении поездами. Но он подумал, что все же сумел бы отыскать платформу, где, целую жизнь назад, глядел в последний раз на своего отца, когда тот уходил от него с сопровождавшими его людьми. Он смог бы разыскать этот перрон и снова постоять на нем, глядя в ту сторону, куда ушел отец, бывший в то утро моложе, чем он сам сейчас, – была возможность как бы повторить что-то из этого, для одного себя. Но не хотелось.

В вагоне он переложил подушку от окна к стене у двери, вынул из чехла и свою, поролоновую, приглушавшую стук колес, – и лег. Залевский вышел к проводнику. В купе было полутемно и тихо. «Я объездил полмира, – подумал Сергей Александрович. – Отец и мать не знают...» И неожиданно с пронзительной отчетливостью увидел их обоих. В последний школьный год ему хотелось, засыпая, представлять, что они живы, но навсегда остались очень далеко – где-то на краю земли, как говорил отец когда-то. «Может быть, в Порт-Элизабет, вдруг вспомнилось ему». Чуть улыбнувшись уголками рта, он осторожно, медленно вздохнул. Тупой ритмичный перестук внизу пошел в глухой раскат, все убыстряясь, и он закрыл глаза. На никогда не виденной, сужавшейся в конце зеленой улице лежал неяркий розоватый отсвет облаков; в ее пустынности было что-то недосказанное, затаенное. Два человека стояли на противоположных сторонах – мужчина в летней шляпе и женщина в светлом плаще. Слабая горьковатая улыбка опять тронула губы Сергея Александровича. Пустой трамвай шел по безлюдной, кончавшейся в розовом небе улице в Порт-Элизабет, но приближался он или катился к горизонту – понять было нельзя.

ДОМ ОФИЦЕРОВ

Если ты никогда толком не понимал разницы между действительным и воображаемым, то с годами ее уже бывает трудно почувствовать даже в самых простых случаях.

Сзади остался танк на постаменте, знакомый каждому минчанину. Уходит вниз вместе с наклонной улицей широкая каменная лестница. И слева, как бойницы, как смотровые щели в броне – три глухих дверных проема. Тут вход в бассейн, в спортзалы, в этот старинный, сложный, как лабиринт, дворец военных физкультурников.

Дом офицеров? Ну, конечно, – сколько лет!.. Эпохи и периоды, возрасты, жизни. Массивная, насуспенная пышность начала и конца 30-х. Непоколебимость, готовность превратиться в крепость в один миг. В общем, реликт и антиквариат. Рядом на улице Красноармейской – еще такие же «титаники» былой империи: здания библиотеки и 4-й средней школы...

Из школы до бассейна было рукой подать. В классах легко было тогда узнать пловцов по розоватым, чистым-чистым лицам. Их уважали. Тима Пецольд и Слава Тихонов, ватерполист... Этот бассейн, пловцы, пловчихи – какие были времена, какие люди! И легендарный, довоенный еще мастер спорта в профессорских очках Игорь Дурейко, и чемпион Юрий Фомичев, красавец Саша Павлов, а позже – мастер и плейбой Борис Сивицкий...

И была еще пловчиха... Дива, чей обожатель, страдая ревностью ко всем, скандировал, когда она стояла уже на старте:

Стиль баттерфляй на водной глади

Нам демонстрировали... девы.

Они сегодня в Ленинграде

Дают направо и налево.

Нет, это надо было видеть, слышать. Но мимо, мимо это все, пускай уходит, – и вот июльским днем нынешнего года ты вдруг сворачиваешь с Карла Маркса после дверей бассейна влево и медленно, как в чужом городе, идешь осматривать Дом офицеров со стороны, куда не заходил ни разу в жизни. Смех, да и только, все с утра крутятся, как могут, а ты, турист, осматриваешь Трою, Карфаген. Диву даешься: этот, мало кому известный фасад куда пышней и грандиозней, чем знакомый всем, привычный.

И вот только увидел это, что-то тревожное и подступило. Как будто уже несвободен, не один. Как будто кто-то наблюдает, следит, не одобряет твоего вторжения. А людей нет вокруг. Дорожка земляная круто вверх, метров на тридцать. А на-

верху площадка травяная. И к ней сходят ступени длинного узкого крыльца. Да, тыловой, скрытый от лишних глаз, второй фасад. Что-то томящее в своей тяжеловесности и в то же время притягательное.

Здесь, значит, и должна была происходить невидимая из фойе, из театрального и кинозала высокая начальственная жизнь. Сверкающие голенища, галифе, кожаный запах портупей, рукопожатия и отирание платками вспотевших под твердыми фуражками лбов, плотные спины в кителях и гимнастерках или в шевиотовых, бостоновых костюмах...

Ну, хорошо, допустим. А потом? В темной глубокой ложе, над важно-неподвижными головами, повернутыми к яркой сцене, вдруг появляется еще одна и наклоняется к кому-то в первом ряду. И этот кто-то, вызванный дежурным офицером по чьему-то телефонному звонку прямо с концерта, встает и уплывает вглубь. Густая темень, проглотив его, смыкается. Персоны в ложе сдвигаются тесней. Это почти инстинкт. Вызванный может не вернуться. Был человек – и нет. Но не зачем всем видеть.

Это мелькнуло и прошло. Но я все медлил, не уходил. Удерживало что-то. Сбоку от внутреннего дворика высилась глыба, казалось, непомерного объема. В ней, понял я, помещались целый театр, гостиные, множество холлов. Этот массив с пилястрами и капителями был украшен лепниной, которую хотелось как-то расшифровать, понять.

Вверху, в нишах и ложных окнах громоздились каменные нотные свитки с музыкальными ключами, скрещенные, конечно же, серпы-молоты, арфы и знамена, горны и звезды, какие-то древесные плоды, литавры и тамбурины, а из-за них высовывались пулеметные стволы «максимов» и штыки.

Вроде бы понимаешь – но и непонятно. Я в нерешительности покидаю этот дворец-квартал, этот город в городе из прошлого столетия. Светит солнце сегодняшнего дня, и я зво-

ню одному мальчику из 4-й школы в далеких 50-х, своему однокласснику.

Никто не поверит, но он приходит тотчас же, будто только этого и ждал. Потому что он архитектор и может мне кое-что растолковать – этот слегка седеющий человек с сильной стройной фигурой, развитой еще в школьное время в гимнастическом зале Дома офицеров.

Мы рассматриваем с одноклассником Сергеем тяжеловесные балконы, пилоны и барельефы с красноармейскими шлемами на стенах, за которыми, мы знаем, большой кинотеатр. Мы говорим и будто видим опять перед собой и Толю Воинова, историка архитектуры, сына известного зодчего, и других, и нас самих, тогдашних – вот здесь, у входа. Да, в Доме офицеров сегодня опять идет кино – но уже для других.

А мы с Сергеем заходим с тыла, смотрим на грандиозный второй фасад, и вдруг он говорит:

– Постой. Вот эта насыпь с плитами бетонными, дорога вверх, к portalу... Да тут же лестница была! Каскадами, целый Петродворец. Вон же остатки балюстрад. Ее просто засыпали, вот долбаки! Что-то возили? Вывозили...

И снова будто кто-то смотрит из окон, следит. Мне показалось? Тогда зачем через неделю здесь проволока и табличка: «Вход запрещен»? Ах, поздно, поздно, ревнители границ, владельцы территорий! Поздно, охранники места и времени. Уже я видел все и понял. Я даже слышал, как в колонном танцевальном зале Дома офицеров звучали музыка и голоса известных раньше тут людей. Гибкого, как кошка, вратаря Геннадия Андреева, заслуженного артиста Бориса Кудрявцева, нашего симпатяги, бездельника Сондера, то есть, Володи Солнцева. Слышно было даже, как кто-то сказал красавице Майе Королевич с большими удивленными глазами:

– Ну, Майя, ты сегодня королева зала.

И, расцветая, она что-то отвечала, но загремел оркестр.

В последнее время я почему-то думал о ней. Что с ней случилось после того, как ее увез в Тбилиси пожилой грузин? Тогда все это сгнуло, забылось. Потом шли интересные футбольные сезоны. И приезжало тбилисское «Динамо». В ресторане тогдашней гостиницы «Беларусь», возле стадиона, я узнал во время обеда лысеющего Давида Кипиани. Нас познакомили, и я спросил, знал ли кто-нибудь у них о Майе. Он внимательно выслушал и подозвал администратора команды.

– Помню, помню. По рукам потом пошла, – сказал тот, сморщив лицо в неприятной усмешке. – Короче, убили шалаву. А вы...

Но я уже уходил, попрощавшись кивком головы с Кипиани. Он проводил меня взглядом темных грустноватых глаз.

Последний раз я видел этот взгляд в газетах, в уходящем году. Глаза Кипиани говорили, что больше его уже никогда не увидят на тренерской скамейке у кромки поля – он ушел от нас навсегда. Ну, а тот администратор, что сказал мне о гибели Майи, королевы танцзала в Минском Доме офицеров... Просто есть люди, которым только назови человека, как от него в ту же минуту уже ничего не остается.

САНДРА

Было почти одиннадцать вечера, самое начало мая, и над низкими огнями пригорода висела темень; она стала отступать только при подъезде к центру.

– Миннеаполис, – сказал Стэп тоном кондуктора, не сбавляя скорости.

– Да, сэр, – шутливо ответил я. – Еще помню.

– Послушай, Алекс, я говорю – Миннеаполис, потому что потом сразу будет Сент-Пол. После моста. Два города вместе. Второй ты не видел.

Он говорил по-русски с сильным акцентом, старательно переводя себя с английского. Ярко освещенные улицы были

пусты абсолютно. Вдруг слева, в алом свете переуллка мелькнула стайка очень быстро идущих подростков.

– Это хулиганы, – кивнул в их сторону Стэп.

– Почему?

– Поздно, чего-то хотят, бегут. Не едут в машине, не сидят дома, не сидят нигде. Это хулиганы.

Скоро яркий свет центра остался позади. Дорога шла вдоль темных деревьев.

– Сейчас мост, – сказал Стэп. – Вот. Мы на мосту. Под нами Миссисипи. Она женщина, да? Река всегда женщина. Она течет, всегда не такая, как вчера. Умеет забывать. Миссисипи тут еще не широкая.

– Верховье.

– Что значит?

– Начало.

– Да, она начинается. Тут, в Миннесоте... Показать войну?

Стэп делал поворот за поворотом и остановил машину перед кварталом красных кирпичных домов с черными проемами вместо окон. Запахло гарью, из проемов лениво выходил негустой дым – что-то там тлело. Квартал был залит резким желтым светом прожекторов, и широкие оранжевые ленты ограждали его.

– Тут торговцы крэгом, сырьем для наркотика. Полиция воюет. Камеры на столбах. Все видно. Если штурм – будут убитые. Полиция с ними тоже связана...

Через минут десять мы остановились у бара. Высоченного и здоровенного бармена распирало от энергии и хорошего настроения. Он представлял что-то в лица единственному посетителю, с хохотом и яростной жестикуляцией. Когда он подал пиво, Стэп тихо спросил у него что-то, но мои убогие познания в разговорной речи американцев не помогли мне. Потом бармен вернулся и тоже тихо сказал что-то Стэпу, принимая плату.

За пивом Стэп рассказал, что родился в Штатах, ему скоро пятьдесят, а родители в молодости перебрались сюда с Украины, и по-ихнему он Степан.

– Ты знаешь, что такое борьба кэтч? Молодец. Я был кэтч. Ломать, душить, выкручивать. Правил нет. И я – двенадцать лет, да. Профи, ха-ха!..

Он хрипловато засмеялся. Был он приземистый, с опущенными широкими плечами и мощной накачанной шеей. Слегка шепелявил. «Зубы, конечно, выбиты вчистую и неудачно вставлены», – мелькнуло у меня. Но надо было видеть его глаза. Они сидели глубоко, будто какой-то заботливо упрятанный, важнейший инструмент, и смотрели холодно, зорко и умно, пока он не улыбался. Тогда, как бы против его воли, они становились почти наивными.

– Ты видел, как мы боремся? Можно ногой в лицо, можно суставы выворачивать. Для публики. Она этого хочет, платит. Это такой театр. Но если я по-настоящему кого-то... Палец ему сломай – он завтра без работы. Потом с тобой такое сделают за это.

– А кровь?

– Мы люди. Забываешь, когда мстишь...

Теперь, сказал Стэп уже в машине, он столяр, делает мебель на заказ и развозит клиентам. Но ни жены, ни детей. С женщинами вообще ничего серьезного не выходит.

– Сейчас покажу тебе «настоящую» Америку, – кавычки эти он проставил интонацией.

Я с трудом сказал что-то по-английски. Он вздохнул:

– Малый запас слов. Знаешь почему?

– Не учу.

– Тебе не нужно. Тебе ничего не нужно в Америке. Всем вашим тут все нужно. И всем со всего мира. А таким, как ты – нет. Мне они нравятся. Тебе тут интересно, но ничего не нужно. И вот что я тебе скажу еще, Алекс: ты свободный от этой

самой свободной страны. Но... ты не думай, что мы все только так: бизнес, деньги, тик-так, тик-так. Мы переживаем тоже... Но тебе с Америкой нужно осторожно.

– Почему?

– Ты все так чувствуешь... Ай си, я вижу..

Мы подъехали к какому-то строению, напоминающему ангар. Вокруг была полная темнота. Он нашарил кнопку звонка, вошел и тут же вышел за мной. Я вспомнил бармена, у которого он что-то спрашивал и который ему что-то сообщил. Наверное, это был адрес на сегодня или что-то вроде пароля. Мы сели за деревянный стол без скатерти. Таких столов здесь было около двадцати. На невысокой сцене в ярком белом свете изгибалась темноволосая девушка в одних черных туфлях. Позади нее стояла узенькая кабинка, украшенная елочными лампочками. Все пространство сцены ограждал высокий, абсолютно прозрачный пластиковый или стеклянный щит, не доходивший до пола сцены на сантиметров двадцать.

Гремела музыка, резкая неприятная. Через минут пять девушка, кланяясь и посылая в зал воздушные поцелуи, покинула сцену.

– Сейчас новая. Увидишь все сначала, – сказал Стэп и положил перед собой стопку банкнот по одному доллару каждая.

Вышла другая девушка, очень высокая и стройная, в короткой белой атласной кофточке с длинными рукавами, в белых трусиках, чулках на белых резинках и в золотых босоножках на тончайших каблуках. У нее было скандинавского типа лицо, серые глаза, и она была светлая шатенка с не очень короткой стрижкой.

Музыка стала тоже другой, не грохотала и не ударяла, мерно раскачивала девушку, кружила, выгибала, и в той буквально все уже тянулось сюда, в зал. Протянутые к нам руки с длинными подрагивающими пальцами уже будто касались нас, ласково и ободряюще. Большой красивый рот был раскрыт,

как в долгом жадном поцелуе, и розовый язык то закрывал, то открывал влажно блестевшие белоснежные зубы.

Скользнув в кабинку, она мгновенно не то чтобы вышла, а как бы просто освободилась от нее вместе с кофточкой, как от чего-то стесняющего в движениях. Большие серые глаза оглядывали нас радостно и призывно. И я почувствовал, что ее взгляд ждет, ищет что-то ей очень нужное в наших глазах и лицах. Она настраивалась нас любить, на то, чтобы отдавать себя одновременно всем и каждому в отдельности.

Она добилась своего – и очень быстро. Все вышло, как она хотела. Она еще несколько раз проскальзывала в кабинку с легкой портьерой, будто накидывая и сбрасывая халатик, пока не осталась в одних золотых босоножках.

В зале были мужчины разного возраста, но в основном молодежь, и я заметил два почти мальчишеских лица, бледных, с широко открытыми, зачарованными глазами и полуоткрытым ртами.

Бесшумно, как тени, двигались девушки, приносившие пиво, почти за каждым столом поощрительно хлопали, раздавался одобрителный свист – и подступало странное, как во сне, тягучее и мучительно-приятное чувство втянутости в какую-то запретную откровенность вместе с ощущением, что плывешь под водой, задержав дыхание.

– Тебе нравится, Алекс? Расслабься, – голос Стэпа доносился будто издалека, из-за музыки и всплесков аплодисментов.

Девушка на сцене теперь предельно откровенно отдавала себя залу. Ее руки, длинные гибкие пальцы раскрывали ее тело до самой укромной глубины и ласкали так, что лицо и глаза ни за что не смогли бы скрыть того, что наступало вслед за этим – а она и не хотела этого скрывать, наоборот. Ее открытость в том, что она испытывала, была просто самоотверженной. Она делала для всех с собой то, что каждый хотел бы

делать с ней – но оставалась за стеклом, возможно, пуленепробиваемым.

Со столов, стоящих рядом со сценой, под стеклянный щит ей протягивали денежные бумажки. Она садилась или ложилась на пол, засовывала деньги в босоножки под ступни и была благодарно близка на расстоянии метра с теми, кто ее одаривал. Трое парней в первом ряду, передав деньги, обнялись, показывая, что все они сейчас вместе любят ее, – и ее взаимность была такой, что невольно подумалось: если это за деньги, то причем тут такая сумасшедшая самоотдача?

Все это длилось достаточно долго. Видно было, что она если еще не опустошена, то все же устала. Наконец, нырнув в кабинку за одеждой, она стала прощаться с нами.

– Хочешь, она придет сейчас к тебе? – спросил Стэп. — Можешь не отвечать. Дашь ей отсюда один доллар, только один, – и он показал на деньги на столе.

Потом он вышел в гардероб, а вернувшись, сказал:

– Посмотри, она там. Сейчас придет.

В гардеробе снимала с крюка плащ девушка в простеньком приталенном сером пиджачке. Она не имела ничего общего с только что бывшей на сцене красавицей с молочно-розовой кожей и золотым руном под мышками и ниже живота.

Она подошла и стала слева, надо мной, с немного смущенной улыбкой. Я хотел подняться, но она положила мне на плечо невесомую ладонь.

Она спросила, и Стэп синхронно перевел в грохоте музыки, но я понял и сам: «Я вам понравилась?» У меня хватило умения ответить так, как хотелось. «Спасибо, я очень рада. Мне приятно». – «Как вас зовут?» – «Сандра». – «Сколько вам лет?» – «Девятнадцать... Вы еще придете сюда?» Нет, сказал я, мы утром улетаем, но я запомню ее надолго. Она годилась мне в дочери, нет, и для этого была слишком молода.

Я протянул ей доллар. Она взяла, наклонилась ко мне, и я ощутил на щеке благодарно прильнувшие теплые, влажные

крылья большой бабочки. От ее лица шел тонкий жар, и я понял, что она еще не отошла от того, что с ней было на сцене, еще плывет во всем этом.

Прощаясь, она провела своими длинными теплыми пальцами по моему затылку, снизу вверх, и в этом было что-то дружеское и простое, но главное, что даже поразило, – чуть жалеющая меня снисходительность. Ее рука словно сказала: «Мужчины... Мы можем с вами сделать все, что захотим». Я вспомнил, как этими пальцами она только что ласкала себя для нас, и подумал: не зрители владели ею, а она – нами. За это именно мы и платили, а не за нее.

Мы долго ехали молча, потом Стэп сказал:

– Ты не думай, что у нас все девушки такие. Бывает, что мужья-негры заставляют их...

Я молчал. И через минуту он заговорил опять:

– Сандра, наверное, учится. И чтобы платить за учебу, подрабатывает так.

Я опять промолчал. Разговаривать не хотелось. Но Стэпа что-то не устраивало, и я вдруг сказал ему, что думал:

– По-моему, ей просто нравится. Она такая, вот и все. Ни хорошо, ни плохо. Так она себя выражает. Мы же восхищены?..

– Ты молодец, Алекс! – закричал Стэп, повернувшись ко мне и хлопая по плечу. Было видно, что он освободился от чего-то, легко вздохнул:

– Да, правильно! Держу пари, что больше такой нет, как Сандра. Она – одна!..

А дальше декорации меняются, как говорят в театре. Меняются и место действия и действующие лица. Мы с Сандрой остаемся среди них. Как это происходит, трудно объяснить, особенно если ты веришь в то, чего на самом деле не было. И вот уже не Стэп, а Сандра сидит за рулем, и мы едем куда-то днем, прочь от той ночи, от спрятанного в ней ангара с нелегальным стриптиз-клубом, в котором прикармливают местную полицию.

– Куда же мы едем, Сандра?

– На пристань, к причалу, просто на берег, все равно, лишь бы вода и чайки. Я буду их кормить.

– У тебя есть друг? Ты кого-нибудь любишь?

– У меня много друзей, – она хитровато улыбается. – Но я люблю коалу.

– Кого?

– Коалу. Это австралийский медведь. Как медвежонок; он живет на дереве.

Мы остановились перед светофором. Вдребезги пьяная женщина подводит к машине мальчика со страшным обожженным лицом. Она сует ему мокрую тряпку, чтобы он протирал переднее стекло, а сама опирается на капот, ее мутит. Сандра опускает голову на руль.

– О господи, я не могу, не могу это видеть, дай им скорей что-нибудь.

Выхожу из машины, но те двое уже поплелись назад, через улицу, и теперь мальчик старается поддерживать мать, прижавшись к ней.

– Все испорчено, все, – говорит Сандра сквозь слезы. – Ну почему всегда так? Включи музыку, я успокоюсь.

Музыка и пение. Женский голос, умоляющий о чем-то.

– О чем она поет, Сандра?

– Ай пут э спелл он ю. «Я заклинаю тебя». Потом: «Не делай этого... Не будь таким...» И о своей любви, взахлеб. Пропускает слова, бросает текст. Слышит что-то внутри себя, более важное. И хочет выразить... «Нина Симон, джазовая певица. Черная. Скоро ей семьдесят. Очень известная. А я всегда мечтала, чтобы у меня просили автографы. Но пока – нет...»

Я протягиваю ей авторучку и подставляю ладонь:

– Вот первая просьба, дай.

И она старательно расписывается, придерживая руль левой рукой. А я думаю о том, что чем больше живешь, тем мень-

ше знаешь, как жить; и о том, почему в этой короткой жизни столько паршивого, что порой уже просто трудно ступить на чистое место, пока не доберешься с кем-нибудь до воды.

Вот, пожалуй, и все. Мне скажут: сон и бред. И правильно. Только оставьте мне все это – и сон, и бред. Разве так трудно?

АНТЕК МЛОДЫ

Однажды на рассвете, слушая грозу и удивляясь близости и силе громовых ударов, с сухим, острым треском раскалывающих невидимое небо над окном, Карчевский неизвестно почему вспомнил то время, когда еще жил дед, все их тогдашнее житье-бытье...

Дед не любил его. По крайней мере, он, Юрик Карчевский, был уверен, хотя совсем не тяготился этим. Тогда о деде почти не думалось.

Дед отделялся от всего привычного и постоянного очень редко, только на миг, словно спеша куда-то возвратиться и не желая оставлять следа. Вот и теперь, когда дед вспомнился, Карчевскому казалось, что возникал он нехотя, как бы с сомнением, стоит ли?..

В том подчас незаметном и каком-то сторонящемся его присутствии в большой семье, где он, дед, был единственным мужчиной, Карчевский сейчас ясно видел не только стариковски-скромную привычку не докучать собой, но и тягу почувствовать себя если не уединенно, то хотя бы отдельно среди запутанного, тесного, из хлама собранного быта первых послевоенных лет с чужими ржавыми кроватями, железной печкой, ее изломанно изогнутым жестяным хоботом, протянутым в окно, и лампочкой на длинном шнуре, где картонка заменяла абажур.

Пожалуй, деду часто-таки удавалось оставаться одному, думал сейчас Карчевский и видел, как в тускло-желтом свете вечеров, среди законченных к очередному празднику портре-

тов мировых вождей («Заказ! Работа!») дед долго, целыми часами осторожно отмеряет и ножовкой пилит свои планки и рейки для новых подрамников, потом переставляет, шкрябая по полу, фанерные куски у стен или, напялив на себя какой-то страшный балахон из заскорузлого брезента, один в осенней темени двора упрямо водит ноющей пилой по безнадежно толстому намокшему бревну, считая, что ему вполне светло и от окошка за спиной. И как по утрам, в широченных, гармошками, штанах на подтяжках он стоит над электрической плиткой, жарит им с двоюродным братом Андреем тонко нарезанные ломти хлеба, растопив в сковороде крохотный кусочек сала и прижимая ножом хлеб, чтобы он лучше пропитался.

Бывало, вкусный теплый этот запах они вдыхали, не успев как следует проснуться. От близости знакомого удовольствия, от глупой своей, дерзкой радости и бодрости, что требовали выхода, и неизвестно от чего еще, они сразу начинали приставать к деду, насмешничать, даже мешать. Дед злился, быстро накаляясь, кричал с нервным азартом в голосе, с готовностью к скандалу:

– А-а! Графы встали к гренкам! Что, уже заяглило? Уже свербит, чешутся руки! Да, бурсаки?..

Они боялись его весело и с удовольствием. А он шипел в усы:

– Ишь, с-сволота...

И точно так шипело в сковороде, и так же кран шипел в промерзшем коридоре, где к перекрученной струе воды тянулись невинно сложенные ковшиком ладони их вредных, то ли бурсацких, то ли графских рук.

Случалось, дед был очень нужен, просто незаменим. Зимой, когда они на санках съезжали к парку по наклонной улице, он торчал семафором внизу, подавая рукой знак, что им не угрожают машины на перекрестке. А летом они его тащили в парк, когда там бывал футбол, и дед спокойно совершал неве-

роятное: протиснувшись в страшной давке к контролерам с огромной папкой и пучком карандашей в нагрудном карманчике пиджака, он деловито сообщал, что он художник, и ему нужно кое-что зарисовать; чудо совершалось, их пропускали, и оставались позади все преграды, даже и конная милиция во главе с рыжеусым капитаном «Лео» Гинзбургом.

Но какая-то упрямая и непонятная сила толкала их с Андреем к вечным ссорам с дедом. Они его дразнили, хохотали над его привычками, словечками, одеждой. Тут были дурь, мальчишечья бездумная жестокость, что-то еще. А дед так яростно бросался в эти ссоры, так едко, ядовито – главное, на равных! – отвечал, будто лишь ждал их в той своей отдельной жизни, когда молча копался в коридорном хламе, стоял у подоконника, выписывая буквы вывесок, досок почета или сидел с какой-нибудь из старых книг.

Он заставлял перед едой мыть руки. Пить воду можно было только кипяченой. И часто, шипя от раздражения, он принимался вырезать им картонные стельки для вымокших ботинок. Все это как-то не соединялось с тем, что долетало со двора то некрасивым и слегка пугавшим пьяным женским пением, а то и втайне радующим звоном разбитого окна.

Дома были деревянные кегли, купленные дедом в надежде приучить их к хорошим играм; его высокий тонконогий мольберт, который они дергали, пока не сваливали, привязанным к ножке ремнем, по-партизански лежа под кроватью; и диковинный дедов музыкальный инструмент, цитра, вызывавшая смех своим названием; и гипсовые головы Лаокоона и Всадника Гаттамелаты на стенах. За стенами же дома оставалось все то, что ждало их на следующий день: пущенные под откос вагонетки разбивавших руины пленных немцев, зависание вместе с ними на тросах, которыми они расшатывали обгоревшие кирпичные стены и дымоходы, и бесконечные, с утра до темноты, осадные обстрелы камнями дву-

хэтажного здания детдома, чьих обитателей редко когда видели, но всегда боялись из-за их коварства и жестокости.

Но сумерки сгущались за окном, ярче светила лампа, покойное тепло приятно чувствовалось в теле, и, сдавшись, дед впускал их в свой невидимо очерченный круг уединения, где перелистывалась книга из одних рисунков, притягивавших, как магнит.

– Кто рисовал, а?

Недовольно хмыкнув, дед бормотал:

– Доре, Гюстав Доре. Это Моисей... Каин и Авель... Ноев ковчег.

– А кто вот это? Разрывает льву пасть.

– Самсон.

– Он разорвал?

– Это Самсон! Сильнее его не было.

– Ну, а потом? Листни, листни еще.

Дед снова останавливался на Самсоне:

– Ночью, один, унес ворота города на спине.

– А здесь? Она отрезала его волосы?

– Он спал! Вся его сила была в длинных волосах, до плеч...

– Что, он обваливает все на самого себя?

Самсон, хотя и с коротко обрезанными волосами, раздвигал руками толстенные высокие колонны, сверху уже валились каменные глыбы потолка, балконы, и люди внизу, запрокинув головы, в ужасе вздымали руки.

– Они его ослепили и вывели, чтобы посмеяться, – говорил дед. – Он обрушил огромный дом с криком: «Умри, душа моя, вместе с филистимлянами!»

– Сила сильнейшая!.. Таких людей, наверное, больше и не было?

В ответ дед снова хмыкал, удивляясь, как можно еще спрашивать такое. Но кто-то из них начинал привычное:

– А Лурих?

– Лурих! – дед на минуту даже отворачивался, давая понять, что об этом и рассказать нельзя тому, кто сам не видел. – Он в цирке выступал. Борец. Весь как из бронзы вылит. И ни одной капельки жиру, только мышцы!..

– Мускулатура, да?

– Атт! Нечего вам делать.

Бывало даже, что он брал гитару и, пощипывая две струны, самую верхнюю и нижнюю, показывал, как скрипка с контрабасом возвращаются не солоно хлебавши с пьяной свадьбы. «Ни ели, ни пили, ды яшчэ пабили», – плаксивым голосом вел дед за скрипку, а контрабас его с упреком бубнил басом: «Я казаў, што так будзе, я казаў, што так будзе». Тогда они кричали: «Антек млоды!» – и дед, чтобы отцепиться, говорил:

– Ну, Антек млоды...

...носил лёды

на Беяны, же аж страх,

гды ему горонцо было,

танцовал польку: рах-чах-чах!..

И они так и видели перед собой этого чудака Антека из Варшавы, кажется, который таскал кому-то мороженое в страшную даль, на Беяны, а когда ему делалось жарко, принимался еще и польку танцевать: рах-чах-чах! – гремели шпоры офицеров в бальной зале...

Но ни вот эти разговоры с дедом, ни его песенки, ни стельки из картона и уж, конечно, гренки – не могли они представить известными там, где пропадали после школы целый день.

Дед выдавал их с головой. Стоило ему приблизиться к ним на улице, как они сразу чувствовали себя обнаруженными соглядатаями среди чужого стана. Вся непохожесть, странность их домашнего житья-бытья делалась явной.

Ни мать его, Юры Крачевского, ни мать Андрея с этой стороны не вызывали беспокойства. То были женщины – обыкновенный мир, имевшийся дома у всех и до того понят-

ный, что его почти не замечали. Но дед и парусиновая его кепка, верх которой был вечно поднят и откинут смятым колпаком назад, и носовой платок, свисавший из-под кепки на затылок для защиты от жары – нет, это было уже чересчур.

И они сразу отступались и открещивались от него, показывая своим видом, что они – тут, со всеми, навсегда, а странный дед, взявшийся невесть откуда и зачем, – просто досадная нелепость, недоразумение.

А с какой готовностью, думал теперь Карчевский, принимались они высмеивать свое нелепое, убогое жилье! Ведь сам он знал тогда, что в случайно уцелевших кварталах города есть квартиры «настоящие», как он их называл про себя. Недаром же бродил в морозной темной синеве по улицам, глядя на окна, в которых мягко, ровно золотился теплый, волнующий уют, – делалось даже стыдно, если кто-то из прохожих замечал его намеренно замедлившийся шаг.

О, там, конечно, настоящей была и жизнь! Там не могло быть даже тени дедовых перегородок из фанеры, что превращали комнату в чуланы, где все торчало, падало, подвязывалось проволокой или поддерживалось стопкой книг, где однажды он соорудил даже нелепые полаты и где кресло без ножки, криво наклонившись, как на коленях у себя, удерживало подлокотниками ящик с банками, а угол сырой стены скользко блестел, сколько бы ни топили. И уж, конечно, там никто не мог выписывать, как дед на жести, никем не слыханное, непонятное, просто дурацкое название «Консервлес». Тот «Консервлес» потом был как нарочно прибит к стене дома, и получилось, что это так их дом называется, а не полуподвал, куда внесли столы, счеты и папки...

Они смотрели на чужие окна по дороге в баню.

Надев на себя все, что было можно, дед двигался большим и мягким комом, будто набитый ватой, а они шли поотстав, уже заранее стыдясь его при встрече со знакомыми.

Пишал под каблуками снег, твердо утоптаный на узком тротуаре. Редкие лампочки слегка покачивались на столбах. Настывшими свежими досками пахло от нового забора в конце улицы, мерзли в карманах руки, а в глубине уютных, с завистью отмеченных окошек уже был налит теплый густой свет, и там висели маленькие купола малиновых или зеленых абажуров.

И тут вдруг дед, словно удерживаясь от падения, делал свой странный выпад в сторону людей, идущих, как он сразу же решал, из бани, и, взмахнув рукой, гулко кричал:

– Ну как, завозно там сегодня?..

Люди отшатывались, что-то отвечали, а они уже держали его за рукава:

– Не мог по-человечески спросить!

– Не мог! Не мог, ваши величества! – вскипал сейчас же дед, гримасничая и едва не пританцовывая со своим баулом. – Ну, научите вашего слугу, ну, научите!.. И кого вы только корчите из себя!

Карчевский улыбнулся, вспомнив это отчетливо; он видел даже, как зло морщится тонкий горбатый дедов нос, как разбегаются морщины от маленьких глаз под белыми бровями. Но это ушло, и, выступив из синеватого полумрака кухни, дед вошел в широкую косую полосу предзакатного солнечного света в комнате, подняв брови в выразительном недоумении: «Этот Бориска со двора... Смотрю – наполовину уже свесился сюда из форточки, к посуде тянется на подоконнике...» – «А ты?» – «Я? Плюнул и пошел, черт его знает... Так он тогда: «Здравствуйте, дядя Миша!»

Но и это ушло, и теперь он видел, как однажды сидел, стараясь сделать наконец уроки, а за окном шел тот дождь, который лил уже с неделю, не переставая, и стены каменного дома во дворе напротив стали линять, все слои старой краски проступили грязными пятнами с разводами, точно дом мас-

кировался от бомбежки. Да, он смотрел на это, а из кухни пахло керосином, и дед, вернувшийся тогда из своей первой, наверное, и уже последней поездки на юг, в дом отдыха, вдруг положил ему на стол большую красивую книгу о Тиле Уленшпигеле и сам сел рядом. И не книга там была главным, нет-нет, а то, как они с дедом сидели тогда вдвоем молча за столом, и дед, глядя перед собой, слегка кивал круглой блестящей головой и слабо усмехался, чуть растерянный, точно человек, который ко всему знакомому должен был теперь привыкать заново.

Те частые уходы деда, погружения на глазах у всех домашних в свою отдельную, только его касающуюся жизнь – они ведь, если сейчас присмотреться, были какими-то стыдливыми. Дед не хотел, чтобы это замечали? Столкнувшись с ними в узком коридоре, он делал быструю улыбку под усами, трубил негромко свое «пум-пуру» и проходил, посторонившись осторожно, аккуратно, и сразу же – лицо смущенное и в то же время недовольное тем, что смущение это заметно.

Теперь уже о многом остается лишь гадать. Может быть, дед стеснялся своего желания просто отдохнуть, всей своей усталости, скопившейся за только отошедшие военные годы, усталости, которая теперь, когда всем так хотелось яркости и силы новой жизни, тянула его к стариковской пристани уединения. Может быть, ему казалось, что он не имеет права на такую пристань. Но почему же нет? Ведь все в семье, хотя и чудом, но остались живы, а остальное – что ж остальное? – живы, значит, и дальше будут как-то жить.

И как-то жили.

А потом настало время, когда дед уже почти перестал замечаться. Он не возникал больше даже как чудаковатая мишень для беззлобных, по привычке отпускавших насмешек, шуточек.

Уже другими стали город и их дом. Все, все было совсем

другое! И жарким летом, когда солнце уходило за высокие деревья, они ухаживали за знакомыми девчонками, стараясь выглядеть бывалыми, уже всего хлебнувшими людьми, и танцевали под шипящие пластинки во дворах.

Знакомые до муки, до стыда, единственные на всем свете белые тапочки доверчиво и осторожно шаркали близко от его начищенных ботинок или старательно выдерживали паузу в конце. Все дни были полны горячего волнения, неутолимой жажды ежеминутной новизны – футбол, трофейное кино, джаз Эдди Рознера...

А то Коля Пиляцкий поздним теплым вечером играл им на аккордеоне и подпевал тихим баском; свет из раскрытого окна падал на перламутр возле клавишей и на тяжелые головы георгинов, пахло чьими-то первыми несмелыми духами и папиросным вежливым дымком чуть в стороне.

Да, а потом, через одно или два лета, нахлынуло и то пьянящее, чем жилось тогда с радостной жадностью, захлеб и чему были готовы отдаваться, не щадя себя и ничего не помня. Пронизывающий холодок счастливого риска, терпкий вкус тайной, запретной удачи – и все впервые, остро, до озноба, летом и зимой. Матовые миндалины вечерних фонарей сквозь гриппозные слезы и боязнь чего-то не успеть, не ухватить и не попробовать...

И вот однажды он пришел домой уже под утро. Слегка шатало, голова кружилась, тело было как невесомое, кожу лица, особенно у глаз, сухо стянуло. Тихонько открывая дверь своим ключом, почти не веря, что уже дома, он проклинал себя и чуть ли не заискивать готов был перед дверью, чтобы за ней никто его не увидел.

Серый свет стоял в окне и освещал комнату неясно, тускло. Ночные тени неохотно и лениво, только потому, что он вошел, отодвинулись к стенам, убрались в углы и снова улеглись там в глухой дреме. Комната выглядела меньше, чем была

вчера. Он удивился этому, тогда еще не зная, что так вот могут выглядеть привычные места, когда в них возвращаешься, что дело тут не обязательно во времени твоего отсутствия, в том, что с тобой было и каким ты был.

Скрипнула сзади половица, и он обернулся. Дед улыбался, как всегда, слегка смущенно, но в его глазах он разглядел и добрую, подбадривающую хитроватость, когда тот несколько раз кивнул ему с выражением, означающим: да, что поделаешь...

– Атт, все бывает, – тут же сказал дед с каким-то облегчением, может быть, чувствуя, что разговаривать об этом больше не придется. – Говорят же люди: не зарекайся от сумы, тюрьмы и от жены... Да и от всякого другого, значит. Ну, так иди завтракать, – и первым пошел в кухню, сложив руки за спиной, точно в задумчивой прогулке.

А он вдруг с удивлением тогда подумал: как же давно люди знали обо всем этом, если сочинили такую поговорку? «А, так они заранее допускали это и в случае со мной?.. Сам ты не думаешь и не гадаешь, не боишься ничего, а кто-то уже знает, знает...»

И вот, наверное, в ту самую минуту, когда дед к кухне двинулся, когда слегка шатнулся, поворачивая в коридоре на сильно согнутых в коленях, искривленных ногах, – он позавидовал ему.

Он позавидовал тому, что дед все это время покойно находился среди домашнего и тихого сейчас, как маленькая бухточка, мирка, где в дальнем углу ванной всегда висит, уютно и невинно, блекло-зеленая, ставшая тесной майка, а слева – полотенце, помнящее твои руки и лицо и не попавшее пока в стремительный водоворот домашней стирки. Мать еще не встала. Старая твоя одежда по-прежнему висит на вешалке и ждет, что ты ее наденешь; обувь послушно стоит в углу и тоже ждет.

Нет, дед не покидал это привычно пахнущее жизнью их семьи тепло ради всего того, где дух сначала занимается в восторге, а затем – вниз, и дух словно выходит из тебя, и остается только стыд и горечь. Он не носился с этой жалкой выдумкой свободы, когда шарить по дну, не закатывая рукавов, он не цеплялся за подымающее, чтобы тут же опустить, колесо счастья. Дед, видно, что-то знал такое, что уберегает...

«А не предупредил», – уже хотелось упрекнуть. Верилось в ту минуту, что он бы тоже уберегся, если бы дед сказал.

Но ни упрека, ни обиды почему-то не было.

Карчевский встал и приоткрыл окно.

Густо пахло весенней теплой сыростью; внизу, сбоку от асфальтовой дорожки, лежали аккуратные горстки вывинченной червями земли. И он опять вспомнил, но с каким-то новым и чуть виноватым чувством, как тогда под утро, обернувшись на пороге комнаты, вдруг обнаружил деда за спиной: там, в полумраке уже не ночного коридора, неслышно выбравшись из пещеры своего по-прежнему захламленного и нелепого жилья, – там дед стоял совсем одетым. Выходит, он в ту ночь и не ложился, не раздевался – все понимал и ждал. Был наготове. Эх, Антек млоды, Антек млоды!..

Вдали глухо, раскатисто прогромыхало.

УЛИЦА С КЛЕНАМИ

(Наивный рассказ)

Клены стояли там высокие и старые. На некоторых кора внизу была ободрана, и голые места блестели, отшлифованные подошвами мальчишек.

Клены тянулись только вдоль одной стороны улицы. За ними была высокая железная ограда парка. Вечером в парке

загорались фонари. Они слегка покачивались в темно-синей глубине и, как бумажные, дрожали от глухого буханья оркестра.

А здесь, на тихой узкой улице, было светло от окон четырехэтажного дома. Кленовые листья колыхались в желтом и красном свете абажуров, и ночные бабочки серебристо мелькали в своем бестолковом кружении, пока не исчезали в открытых ярких окнах.

Балконы по вечерам заполнялись, как ложи в театре. Там стояли и сидели, разговаривали, смеялись и курили, и запах папиросного дыма смешивался с запахом цветов, которые называли «табак», они белели на всех балконах. Где-то слушали пластинки, и женский низковатый голос пел:

...Мы встретились под кленами
С курсантом молодым
И плавно закружились –
Играл на мостовой
Военного училища
Оркестр наш духовой.

И Юра был уверен, что это пелось про оркестр в парке и эту улицу.

В такое время, вечером, он чувствовал себя свободно и легко. Днем он стеснялся – и тети Ванды, хозяйки квартиры, где должен был еще месяц жить с отцом, пока тот не выполнит в этом городе свою работу на местной электростанции; и соседей, с которыми нужно было здороваться на лестничной площадке; и, главное, ребят на улице, у дома – они торчали там с утра до вечера, чужие, уверенные в себе, не обращавшие на него никакого внимания.

Вечерами, когда приходил отец, они вдвоем подолгу стояли на балконе, слушая музыку из парка, и тогда думалось о том, что все же хорошо вот так, впервые, быть в другом городе, жить в другом доме, видеть вокруг других, новых людей.

Однажды утром хозяйка сказала:

– Юра, познакомься, это вот Рома... Ромуальда – полное...

У Ромы была теплая узкая ладонь и черная челка над загорелым лицом. Смотрела Рома на него спокойно, казалось, чуть насмешливо. Он сказал «Юра» и ушел в комнату, чувствуя себя неловким и смешным.

Он послушал голоса из прихожей и понял, что хозяйка – мать Ромы, что Рома временно сейчас живет у своей тетки, чтобы им с отцом было удобнее тут. Еще он понял, что Рома будет часто приходить сюда – и это его как-то обеспокоило.

Она и вправду стала раз за разом приходить домой. Юре не хотелось попадаться ей на глаза, и в то же время он ждал этих ее приходов.

Странно.

Когда же она уходила, когда хлопала дверь, он бросался на балкон и долго, пристально следил за Ромой, смотрел, как она стоит и разговаривает с ребятами, слушал, как она вместе с ними смеется – над ним, казалось, ну конечно же, над ним, испуганно молчащим перед ней, точно немой или заика.

Ему хотелось смотреть на нее, когда она не видит этого, как она ходит, говорит. Но спуститься в эти минуты вниз он не решался, что-то мешало и удерживало, но всегда было хорошо – он ждал этих ее приходов.

Еще тогда, при первом знакомстве, он почувствовал, что Рома старше его. Но особенно это стало ясно, когда он нашел на полках в комнате ее учебники, тетради.

Рома приходила к своей маме все чаще, но он по-прежнему устраивал так, чтобы смотреть на нее, оставаясь незамеченным.

И вот настал день их отъезда.

Отец укладывал одежду в чемоданы. А он скользнул на балкон и по привычке перегнулся, глядя вниз. На улице под кленами никого не было. Он перегнулся через перила еще больше и увидел балкон под собой. Там была Рома в белом платье и кто-то еще, и они целовались.

Он резко выпрямился, даже отшатнулся. Быстро и осторожно оглянулся: не видит ли его отец? Тот стоял в глубине комнаты над чемоданами. Тогда он перегнулся и заглянул на нижний балкон опять.

Там было пусто.

Он не помнил, как они прощались с хозяйкой, что говорил ей отец. Только уже на лестнице, с трудом удерживая тяжелый чемодан, он понял, что первый раз видел сейчас, как люди целуются. И подумал, что у себя дома, во дворе все равно не сможет никому рассказать об этом, потому что это целовалась Рома.

И тут он ее увидел. Она стояла у дверей подъезда, как бы украдкой поглядывая в маленькое зеркало на ладони и поправляла челку на лбу.

Он почувствовал в этот момент, что она для него уже совсем другая, чем он себе воображал еще сегодня утром, очень далекая и незнакомая, чужая. Нет, он недаром ее сторонился, был настороже.

И, глядя ей в глаза, он улыбался, чувствуя, что ему хочется что-нибудь ей сказать. Он поставил чемодан, выпрямился и ничем не смущаясь, с каким-то облегчением сказал:

– Здравствуйте!..

И она сказала удивленно:

– Здравствуйте.

По дороге на вокзал и в поезде он с удовольствием думал о том, как он первый раз влюбился в чужом городе и что об этом никто никогда не узнает.

Дома, в своем городе, он думал об этом тоже – все время, как ему казалось, каждый день, везде.

Ему очень нравилось само это имя Рома, он раньше думал, что оно только мужское, и все, что осталось там, на улице с большими кленами в чужом городе – буханье оркестра в парке по вечерам и тугое буханье мяча под деревьями на тихой ули-

це, балконы с незнакомыми людьми, запахи папиросного дыма и цветов «табак», Ромино лицо и ее голос, смех – и главное, как она целует кого-то на балконе внизу.

Теперь все это было еще лучше, чем в том городе, и как-то ближе. Он носил это с собой, куда бы ни шел. Он представлял себе, каким бы казался Роме, когда играет в футбол, идет по улице или сидит с приятелем в кино, – и старался выглядеть в эти минуты как-то лучше, интереснее.

Он был уверен, что любит Рому. И он действительно ее любил, до самой осени – целое лето, если хотите знать.

ТВОЯ ПЕСНЯ ЧАРУЕТ

Во-первых, все происходило так давно, что даже непонятно, было ли это в самом деле. А во-вторых, фильм назывался «Джунгли» – кажется, первое цветное из послевоенного трофейного кино.

Весь темный, битком набитый зал жадно следил, как бешеный красный огонь пожара, утробно гудя, набрасывался на зеленые заросли, пьянея от ярости и беззащитности леса. С криками, прижимая к себе детенышей, убегали, перемахивая с дерева на дерево, обезьяны. Трубя, ломили сквозь чащу лобастые, лопоухие слоны. И, ничего не слыша, но все зная, скользили в реке длинными ремнями змеи.

И был коричневый, в одной набедренной повязке, Маугли, вскормленный в джунглях молоком волчицы, и он попал в пещеру с богатейшим кладом. Горы золотых монет каждая в пол-ладони! На насыпях драгоценностей можно валяться, зарываясь в сверкающие украшения. Ожерелья, браслеты, подсвечники, кубки, блюда и вазы, расшитые жемчугом головные уборы, отделанные золотом гребни, жезлы и шкатулки, целые холмы атласа и пурпура. И вершиной, лучистой звез-

дой этого роскошества был большой, похожий на налитый кровью глаз, рубин в серебряном царском скипетре.

Но перед Маугли поднялась Древняя Змея и шелестящим сухим голосом предостерегала, чтобы он ничего отсюда не брал, если не хочет несчастья. Маугли же нужны были только две золотые монеты, чтобы купить у людей кинжал, Большой зуб, для схватки с тигром, коварным Шерхан-Тайгром, своим единственным и смертельным врагом.

Юра Забелла и Грета, не отрываясь, смотрели на это, и ее теплое колено было податливым, послушным, а коричневый Маугли мчался по стволам поваленных деревьев, зажав в руке монеты.

– Его убьют? Да, Юра? Не-е-ет...

Скользя каблуками по шелухе от семечек, она придвигалась еще теснее и жарко шептала ему в шею:

– Только не оглядывайся, ладно?

Трое негодяев из деревни, обнаружив клад и убив Змею-Хранительницу, сгибались в три погибели под тяжестью награбленного и ночами убивали друг друга, пока не остался один. Маугли преследовал его со своими преданными друзьями. Сотрясая джунгли раскатистым рыком, кружила угольно-черная, страшная и прекрасная Пантера с огненными умными глазами. Ее рычание малышня в первых рядах встречала ликующим свистом, как залпы «катюш» в картинах про войну. И вроде бы не спеша, но стремительно продвигался в реке громадный Питон – обняв его, Маугли плыл под водой, надолго задерживая дыхание.

Последний грабитель выбился из сил и бросил все, кроме скипетра с кровавым рубиновым глазом. На пути его заводь. Пасть Крокодила уже открыта. Злодей в отчаянии запускает в чудовище скипетром, и Крокодил, зажав его в челюстях, погружается в зеленую воду с открытыми стоячими глазами. Пантера же прыжком с дерева на обезумевшего негодяя

довершает неотвратимое возмездие. В первых рядах опять ликуют, топают ногами.

Наконец начинается смертельный бой Маугли с Шерханом, к чему и шло все с самого начала. Им даже не хватает той земли, где они бьются. Огромный тигр и человек, сплетаясь, живым веретеном вращаются в реке. И вдруг вода окрашивается кровью, Тигр разжимает лапы на спине у Маугли. Зал облегченно ахает, и фильм окончен.

Плавно светлеет вверху и по сторонам. Грета застегивает пальто, поправляет берет и подкрашивает губы, плотно сжимает их, раскатывая свежую помаду.

– Ну что, увидели тебя со мной, да? И как только тебе с такой не ай-яй-яй?..

И, выплыв в медленной толпе в туманный сонный день мартовской оттепели, скрытно держа его за руку, она молча глядит поверх голов в платках, шапках-ушанках, кепках, поверх дымков от папирос – и удивленно говорит:

– Юра, смотри...

Впереди, в синеватой предвечерней мгле, среди такой же густой, но неподвижной толпы чернеют крыши стоящих трамвайных вагонов. Загораживая им путь, люди смотрят вверх, куда-то выше последнего, четвертого этажа длинного старого дома. А там Костя-Герой сосредоточенно продвигается по бурой покато́й крыше вдоль едва доходящего ему до колен карниза.

Не привыкать было видеть Костю в глубоком запое, в белой горячке – в его темно-синем дорогом костюме и без рубашки, с синей татуировкой на розовой груди и золотой звездочкой Героя Советского Союза на лацкане. Но то, как он сейчас двигался по круто уходящей вниз жести, как легко держал равновесие, не разводя рук было похоже на лунатика.

– Это Костя-бомбовоз, Костя-Герой! – Кричали из толпы.

– Костя, даешь! Пошел на бреющем!

– Ой, ну замерзнет же, ей-богу. Грудь голая совсем, – тихо сказала Грета.

– А ты бомби, Герой! Бомби трамвай, мы держим!

Пожилая вагоновожатая в солдатском ватнике поправила на голове платок и равнодушно смотрела перед собой в окно кабины. Кто-то, пьяным чутьем угадав минуту, уже тянул:

Вот на углу стоит знакомая пивная,
Тут собиралась компания блатная,
Тут были девочки Маруся, Соня, Рая,
А с ними Костя, Костя-бомбовоз...

Появился и понуро замер на тротуаре высокий и худой участковый милиционер, прозванный во дворах Пихтой. Со стороны площади раздались длинные гнусавые гудки пожарной машины.

– Они его будут ловить, залезут по пожарной лестнице, – возбужденно говорила Грета, сжимая юрины пальцы в горячей влажной ладони. – А он как Маугли, да? Он им не дастся. Ну, закури быстрее и дай мне потянуть.

Что-то настораживало в этом ее возбуждении, в голосе и бледно-матовом лице с алыми губами и почти сросшимися у переносицы бровями. Костя-Герой, уже начавший разбирать дымоход, спускался к карнизу с кирпичом, но не бросал его, а громко и спокойно говорил:

– Зенитки бьют – и мимо, мимо, а я на бреющем, на бреющем иду!

Потом он переставал ходить вверх-вниз, садился боком на карниз и тосковал, покачивая головой:

– Эх, взяли в перекрестке прожекторами... Эх, ослепили и ведут, ведут. Товарищи, я ухожу дворами, легавые меня там не найдут!

Грета, глядя исподлобья вверх, затягивалась папиросой, держа ее в кулаке; ровные струйки дыма выходили из маленьких ноздрей ее короткого носа.

– Товарищи – это от слова «товар»? А я товар хороший, Юра? Ну, то есть, товарищ. Тебе понравилось... кино? И мне...

Он подумал, что у нее, наверное, скоро начнется «карусель», как говорили в их кварталах, – бессоное кружение, когда она, точно без памяти, кружила по улицам и скверам, стояла, будто в столбняке, возле ларьков и магазинов, у кинотеатра, на трамвайной остановке и светлячком плыла в тусклом свете редких фонарей с бледным лицом и темными огромными глазами. И говорили, тогда можно было брать ее, послушную, за руку, вести куда-нибудь на стройку или стадион, на последний киносеанс в последнем ряду, а то в руины, что еще остались от войны.

Считалось, что Грета заболела так еще тогда, от страха при ночных бомбежках, когда убило мать, но точно ничего никто не знал. И говорили иногда, что сперва этим именем мать называла дочку по просьбе одного немецкого офицера во время оккупации, а потом и соседи так стали звать, призывкли.

Когда у Греты все было нормально, о ее заболевании никто не помнил. Ее любили и жалели. Юре приятно было на нее смотреть, но первым он не подходил, то ли робел, то ли смущало что-то. А сегодня она сама заговорила с ним у гастронома и предложила пойти в кино. Он и пошел.

И вот чем это кончилось.

Как только лестница пожарных дотянулась до карниза крыши, Костя-Герой, прощально помахав рукой толпе, как кошка, быстренько и цепко взобрался на самый верх и сразу же исчез, спускаясь, видно, по противоположному откосу. Толпа рассеялась, трамвай звякнул и тронулся.

А Греты рядом тоже не было. Юра не верил глазам, оглядывался – нет, будто сквозь землю провалилась.

Поздно вечером он насильно засадил себя за учебники. Ничего в голову не шло. От химии тошнило. Вдруг что-то все

равно как дернуло и оторвало его от дивана. Он бросился во двор, потом на улицу, даже не думая, зачем.

Темно и пусто, ветер, карканье ворон... Под мутным фонарем на перекрестке раскачивалась, медленно кружилась на трамвайных рельсах тонкая фигурка. Почти прыжками и за чем-то прячась в темени у стен, он подобрался ближе: Грета, конечно. «Вот и началось», – мелькнуло. Он видел ее «карусель» впервые. Подойти? И что сказать, что сделать?

А Грета что-то напевала. Казалось, видела его, но не узнавала. И тут послышался резкий и длинный звонок трамвая, потом еще, еще – и уже не смолкая. Грета плавно кружилась – в одну, потом в другую сторону, и доносился ее голос:

Ла-ла-ла, ла-ла-ла,

Твоя песня чарует...

Слова эти он видел на наклейке старой пластинки. Мелодию тоже сразу узнал. Успел подумать, вспомнив патефонный тенор: «А у нее лучше...» И ноги стали чугунными, в груди зажало: трамвай, гремя звонком, тупо уставясь желтой фарой, катился вниз от площади, по спуску к перекрестку, и видно было – Грета не уйдет.

– Ну тормози! – заорал он, кинувшись к месту жуткого кружения знакомого берета, и тут же понял: «Отказали тормоза».

Трамвай летел прямо на Грету, Юра не знал, что бы он сделал – но он не успевал. И черной большой птицей, с хриплой руганью, кто-то вылетел из темноты слева, с разбега, в падении, ногами вперед бросился на Грету и выбил ее с блестящих рельсов в сторону. С визгом, но только через метров пять включились тормоза, трамвай остановился.

Откуда люди собрались, Юра не понял – никого же не было.

– Живой еще! Машину надо, подмогните!

– Беги звонить! Пусть «скорая»...

– Лучше не трогайте уже.

Юра не видел, кто лежит на рельсах. Но почему-то знал. Не удивился, когда услышал:

– Вот вам и Костя-бомбовоз. Девчонку спас.

– Бомбил, бомбил он здесь в войну, вокзал и станцию товарную – сам трезвый говорил. А немцы в него не попали. Ну, а теперь вот... Все.

Минуло много лет, прошли десятилетия. Константина Ивановича Костюка, летчика штурмовой авиации, уже хорошо знали по статьям в газетах, фотографиям. Только почему-то не удавалось толком понять, как и когда он погиб.

О Грете Кобытовой, чье настоящее имя, оказывается, было Люся, с тех пор никто не слышал. Да и кому такое будет интересно вообще, особенно если речь идет о какой-то странной девочке-подростке, сироте, о бледной порочной красавице из послевоенных минских руин сорок девятого года...

ГДЕ ТЫ БЫЛ?

– Анна, как ты думаешь, он пьян?

– Не знаю. Наверное...

Тут этот парень у окна заорал, и она поморщилась.

– Иди в купе, Анна.

– Пробовала. Тоже слышно.

Подошел Володя. Мы закурили. Парень в окне надрывался. Если бы сейчас рядом проходил встречный поезд, мы бы не услышали.

– А он, между прочим, не пьян, – сказал Володя.

– Может, ему кажется, что он здесь один?

– Ему кажется, что он – Элвис Пресли, – улыбнулась Анна.

– Вообще-то похоже, – сказал Володя. – Ну и глотка! Пошли отсюда.

Мы зашли в соседнее купе. Здесь никого не было, только два чемодана лежали на верхней полке. Мы долго сидели молча. «Пресли» в коридоре то утихал, то снова завывал. Два

раза поезд останавливался на маленьких станциях. Тогда крики были уже совсем дикими.

– Тут что-то не так, – сказал Володя. – Чего-то он добивается.

– Анна, он нам надоел.

– Интересно, он грек?

– По-моему, да. Их, кажется, трое в нашем вагоне. Я слышала несколько фраз.

– Анна, пойди и популярно объясни ему, чтобы он отдохнул. Хотя бы до греческой границы.

– Ребята, но почему я?

– А кто у нас знает греческий?

Она тяжело вздохнула, но все же поднялась.

Из коридора все еще слышались крики. Потом вдруг дверь раскрылась, и вошел тот самый парень. За ним зашли двое сербов. Он показал на чемоданы, потом ткнул себя в грудь, как-то идиотски улыбнулся и крикнул:

– Грэчка! Дойч!

А потом сказал что-то по-гречески сербским ребятам, мельком взглянул на нас, развалился напротив, напевая что-то. На вид ему было лет двадцать шесть. Невысокий, но широкий в плечах, с аккуратно уложенными вьющимися волосами, он мог выглядеть моложе, если бы не заметные уже залысины и бледность. Бросались в глаза его какие-то аляповатые кольца, но руки были загрубелые, с короткими пальцами и широкими ладонями. Он перестал напевать, резко поднялся и снял оба чемодана с полки. Раскрыл их, стал рыться, потом снова забросил наверх и взялся за транзистор. Какой-то он был взвинченный, с чересчур быстрыми движениями. Но пьян он не был, теперь мы уже знали это точно. Когда он вышел, сербы сказали:

– Говорит, два года работал ув Западна Германия. Едет домой.

Вот оно что. Мы начинали немного понимать.

Поезд подходил к Скопле. Сербы поднялись, протянули нам руки. Мы вышли проводить их. Уже показался вокзал.

– Гитлер силен! Все погибнет! – вдруг закричал хозяин чемоданов в окно рядом с нами.

Мы посмотрели друг на друга. Подошла Анна.

– Слышали?

– Ты не заговаривала с ним?

– Нет.

– Все погибнет! – послышался тот же голос.

Мы ушли в свои купе. Скоро поезд тронулся, но в коридоре криков уже не было слышно. Через несколько часов мы должны были проезжать границу. Югославский кондуктор зашел к нам, мы показали ему свои билеты. Он был пожилой и в очках. Отметив что-то на наших билетах, он присел на свободное место, улыбнулся:

– Руски? Хорошо. Чуть помню язык руски.

Он увидел на сиденье книгу, взял ее. Это был седьмой том Куприна.

– Еще помню читать.

Он раскрыл страницу наугад, поправил очки и медленно прочел, водя по строчкам пальцем: «Но вот что однажды случилось. Мальчик, по своему обыкновению, сидел на ковре, поджав ноги...» Ему очень понравилось, что он прочитал без запинки.

Старый кондуктор посидел с нами еще немного. Рассказал, что русскому языку выучился в партизанах, достал фотографии своих сыновей. Потом спросил, будем ли мы ехать назад из Греции через Югославию. Узнав, что да, улыбнулся.

– Сейчас провожаю. Потом буду вас встречать. Встречать лучше.

Он чуть поклонился и вышел.

А ночью, когда мы прибыли на пограничную греческую станцию и все формальности были закончены, Анна расска-

зала нам о том крикуне. Она все же решилась заговорить с ним.

Он сказал, что его зовут Георг. Да, он сразу понял, что мы – русские. Еще на вокзале в Белграде. А сам он едет из Западной Германии. «Весь этот спектакль мой – не для вас». Так ему нужно было, оказывается. Ему выгодно орать и кривляться, как янки. Ему выгодно кричать что-нибудь фашистское. Ему выгодно все это делать. Почему? О, тут все просто. Может, не сразу понятно для русских, зато очень ясно для него. Каждый, такой, как он, выезжающий на заработки в ФРГ, на учете. Он не знает тех, кто ведет учет, но они его знают. Он ничего не имеет против троих парней, греков, что тоже едут оттуда вместе с ним. Но он в них не так уж и уверен... Сейчас он, Георг, возвращается домой. Пришел срок идти в армию. Но в армии – только год. А потом опять нужно ехать в ФРГ. Потому что у него мать и много родственников, но мало денег. И с работой дома все обстоит так, что лучше не рассказывать. А там, где он был, он имеет работу. Какую? Подсобником на заводе электроаппаратуры. И ему нужно это место снова через год. Но через год одному Богу известно, сколько таких, как он, будут искать там работу. О тебе могут забыть хозяева. Поэтому им нужно нравиться. Что для этого надо делать? Разное. Можно на всякий случай устроить даже вот такую «микродемонстрацию» в вагоне. Это может стать известно. И он будет считаться благонадежным или как там еще. Это называется делать себе капиталистический капитал. И он пробует, хотя и очень примитивно. А самому противно. Самому хочется петь свои, греческие песни. И танцевать свои танцы.

Там, где он работает, он не поет и не танцует. Иногда ходит в кино – и все. Вечером каждая минута дорога, он зубрит до поздней ночи, чтобы когда-нибудь получить место электрика... В войну фашисты убили его дядю и старшего брата. А ему теперь иногда приходится кричать фашистские словечки. Нет, он не пьян, нет. Тратить на выпивку? На нее он еще

не зарабатывает... Все, хватит. Больше он не хочет говорить об этом. И не хочется, чтобы те трое видели его так долго с русскими. Почему? Так, на всякий случай...

Анна кончила рассказывать, и мы долго молчали.

...Какая-то тихая-тихая станция. Поезд уже долго шел так медленно, и вот заснул. Ни ветерка, ни звука. Поезд сам себя убаюкал. Низкие звезды, низкий Млечный Путь. Кто-то медленно движется рядом с вагоном, тихо поет. Шаг, еще два, поворот. Огонек сигареты появляется и исчезает. Он танцует на своей земле. Шуршит шлак под ногами. Надо вспомнить свой танец – он едет домой. Шаг, еще два, поворот...

Где ты был, Георг?

ГИТЛЕР И ЕГО ЖЕНА

Декабрь кончается без снега, дни – как в середине теплой, сырой осени. А вечерами под окном плывут огни в тумане, в открытой форточке слегка постукивает по стеклу крючок, и иногда доносится тяжелый звон колес с трамвайного кольца.

Наплывом:

...двое братьев из старого каменного двухэтажного дома и двое из старого каменного одноэтажного в том же дворе – вот вся компания. Старшим братьям лет по двенадцать, младшим – по девять или восемь.

Всегда их видят вместе. То выходят из разбитых железных ворот с погнутыми пиками и, перейдя улицу, скрываются за полуразрушенными коробками каменных зданий с пустыми глазницами и обгоревшими, ржавыми решетками балконов. То идут дальше, к горам кирпичных руин по обе стороны разбитой главной улицы, и там тоже исчезают на добрых полдня.

Но чаще всего они ходят смотреть, как горбятся пленные фрицы в развалинах, долго раскачивая и, наконец, обва-

ливая с помощью металлического троса и лебедки обгорелые стены.

Ближе к вечеру немцы, быстро и с удовольствием построившись в колонну, уходят к своим баракам в красноватой от заходящего солнца кирпичной пыли, и тихо позвякивают привязанные у них к поясам алюминиевые ложки и котелки.

Их бараки и летний лагерь – перед городской тюрьмой. Тут, за проволокой, они летом живут у всех на виду со всем своим хозяйством, которое составляют у них бесчисленные приспособления из пустых ящиков, досок, труб и кирпичей. Из всего этого они соорудили себе что-то вроде дневных крохотных жилищ, печки и табуреты. На протянутых везде веревках и обрывках проводов сушится старое разноцветное белье и тряпки. Вымытые до блеска жестяные банки аккуратно расставлены на кирпичачах.

Обитатели лагеря, когда они не расчищают руины, усиленно заняты здесь своими делами: чинят обувь, штопают или бреются, поставив перед собой на камень осколок зеркала и подперев его чем-нибудь сзади, и эти зеркальные осколки вспыхивают на солнце в разных местах лагеря.

Каждый вечер летом, когда пленные немцы уходят к своим баракам на пустыре возле городской тюрьмы, четверо братьев из одного двора вместе с другими подростками с их улицы пытаются свалить оставленные фрицами себе на завтра дымоход или часть кирпичной стены. Ничего для этого специально делать не надо: фрицы к концу своего рабочего дня сами заботливо приготавливают себе к утру работу попроще и полегче. Они обвязывают тросом какой-нибудь выступ или остов и закрепляют трос заранее, вечером, чтобы с утра не напрягаться, а когда кирпичи рухнут и осядут тучи пыли, сполна использовать заработанный перерыв: гогоча, с довольным видом медленно брести к красно-коричневым грудам и завалам, не торопясь закуривать, лопотать и похохатывать, при-

мериваясь, на что бы накинуть трос опять. Некоторые, ковыляя по грудам камней, отходят, чтобы справить нужду, и остальные терпеливо дожидаются их.

– Они же так нарочно, просто время тянут, – говорит, сплевывая, Миха Верас, старший из братьев, живущих в маленьком одноэтажном доме.

И каждый вечер немцам как-то незаметно удается добиваться своего. Звучит свисток их главного, очкарика в надвинутой на уши даже в жару пилотке, и на сегодня – все, они спешат на ровный пятачок земли в руинах и строятся. Вот только что еще старательно висели, дергались, как куклы-оборванцы, на своем тросе, натянув его лебедкой, – и уже быстренько построились, пошли.

Тогда уже они, четверо братьев, то сами, а то вместе с кем-то из других компаний, стараются испортить фрицам завтрашнее утро. Они высиливаются час за часом, уцепившись за трос руками и ногами, но ничего не получается. Не хватает сил.

Здесь, конечно, мог бы помочь Лёнька Орёл, он самый сильный в их квартале, самый большой и, главное, отчаянный. Но Орел, как всегда, сражается где-то на своей вечной войне со всеми.

Непримиримый и неуловимый, он страшно кричит и ругается, появляясь вдруг неизвестно откуда на крышах сараев, убегая по ним от своих преследователей с истошным воплем «Ура!» Никто никогда не знает, где и с кем он проводит дни, чем занимается и почему каждый вечер его гонят откуда-то пущенные вдогонку комья засохшей глины, консервные банки, набитые мелкими камнями, и кирпичные обломки.

Видят Орла только тогда, когда он уже грохочет немецкими коваными ботинками по прогибающимся жестяным крышам сараев, на миг замирает за каким-нибудь уступом и тут же, согнувшись в три погибели, опять бросается дальше или, отчаявшись, оборачивается, выпрямляется во весь рост и про-

клинает своих врагов со вздувшимися на шее венами и зверским выражением на своем не по возрасту старом лице.

Чаще всего его обстреливают с противоположной стороны улицы, где, в глубине руин, стоит уцелевшее двухэтажное здание. Это детдом, чьих обитателей редко кто видит, но все побаиваются, зная об их хитрости, злости и жестокости. Это они, наверное, все время охотятся за Орлом, и пущенные ему вдогонку куски кирпичей разрывами бухают на проржавевших листах жести, обдавая их красновато-рыжей пылью.

И кто другой, если не Орел, мог бы помочь разрушить то, что фрицы так заботливо приготавливают себе на утро? А ведь разрушить это надо обязательно, иначе получается, что немцы вот на этой улице сегодня как бы побеждают.

Конечно, как всегда, вместо Орла приходит бедняга Цыпа и, совершенно бесполезный, останавливается в стороне, не решаясь приблизиться, почесывая одну ногу другой.

Тихий, худющий и босой, в висающем на нем выцветшем немецком френче, с робким взглядом и чуть виноватой улыбкой, он ходит осторожно, мелко перебирая по камням своими тонкими ногами. Настоящее имя его Витя, а Цыпой его называют чаще за глаза, но, бывает, и при нем, и он не то что не обижается, но и явно не против, это заметно. Когда к нему обращаются, то говорят почему-то «Витя», а не «Витька» – и это слишком отличается от всех других имен, привычно огрубленных, с добавлениями-кличками. В «Вите» слышится какая-то вежливость и жалость. А «Цыпа» все упрощает, ставит на место, как-то уравнивает Витю с остальными, устраивает и его, и их.

Однажды в сквере, где они пробуют продавать прохожим самодельные конфеты-ириски, квас и семечки, Цыпа появляется с литровой банкой воды, с кружкой и несмело говорит, опустив глаза:

– Кому воды холодной?

Звук собственного голоса и то, что он первым пытается заговорить с незнакомыми людьми, – все это сильно его смущает; он выговаривает слова как будто через силу, и слышится: «ваты халотнай». И все отводят от него глаза.

От Цыпы никакого толку нет и в рельсовой войне.

Они ведут ее с уходящими вечером пленными немцами упорно, долго, летом и зимой. В этой войне все дело в тяжелых вагонетках.

Сперва их медленно, тужась изо всех сил, разводят в противоположные концы шаткого рельсового пути, проложенного фрицами в руинах. Потом подкладывают под колеса железяки, и вагонетки угрожающе застывают, готовые ринуться навстречу одна другой по прогнутым в середине рельсам. Десятки тонких рук удерживают металлические чудища, пока из-под колес вынимаются тормозящие их болты – и тут же все ловко, как обезьяны, запрыгивают на уже катящиеся железные громады и с воплями несутся по наклону вниз, где будет лобовое столкновение.

Скорость растет, рельсы гудят, подрагивают и шатаются на своих опорах, установленных немцами в кирпичных грудах, вагонетки уже ничто не может остановить, и когда до столкновения остается всего каких-нибудь метра три, все соскакивают с них в разные стороны и, едва успев попасть ногой на какой-нибудь выступ или балку, разбегаются в стороны и жадно ждут главного.

Раздается лязг и глухой, тяжелый звон железа: вагонетки, вздыбившись, лезут друг на друга и валятся вниз, со скрежетом стягивая за собой тонкие рельсы с металлическими шпалами и разваливая опоры. С восторгом в глазах, с широко открытыми от ликующего крика ртами все смотрят на удавшееся крушение долго, пока не осядет бурая пыль над лежащими вверх колесами вагонетками.

Тут фрицы завтра будут надрывать целый день. А может, и до вечера не восстановят свою железную дорогу.

Январский холод. По ночам в чугунном выстуженном небе, касаясь крыш, стоит громадная оранжевая, неправдоподобно близкая луна. А днем тихо за окнами, только собака где-то сдуру зайдет в лае, да во все горло, уже по-зимнему раскатисто закаркает ворона. И вдруг во всем этом почувствуется что-то настолько знакомое, привычное, особенно когда еще зазвучит пианино у соседей, что эта минута бесконечно растягивается и достигает того, в чем жил давным-давно и будто бы в другой какой-то жизни.

Наплывом:

...где бункер Гитлера, им хорошо известно. Всегда там сколько хочешь гнилых серых грибов на бледных длинных ножках с черной бахромой под шляпками. Грибы растут колониями у покрытой слизью стены в подвале, и когда по ним бьешь камнями, разлетаются хлопьями густой черно-серой жижи.

Эти грибы и есть Гитлер, его жена, их охранники и генералы. Их помещают в старательно и крепко сооруженный в песке бункер из кирпичей, обкладывают щепками, ржавыми пластинами обгоревших трансформаторов и проволокой. Два самых больших гриба – Гитлера и его жену – укладывают рядом на ровный камень в середине бункера, – это их брачная постель. Грибы-генералы и грибы-охранники помещаются в соседних отсеках сооружения.

Все это накрывается слоем крышек от консервных банок, присыпается землей и маскируется комьями плотного золотисто-зеленого моха, растущего на полуразвалившихся балконах вместе с лебедой, яркими желтыми и фиолетовыми цветами на высоких стеблях.

Стрельба по укрытию Гитлера начинается издали. Камни сперва выбираются средней величины, с острыми углами. Они взрывают землю на бункере, разбивают его перекрытия. Тогда, приближаясь с азартными приговорками и руга-

тельствами, четверо братьев пускают в ход уже большие камни и гладкие плиты с намертво присохшим цементом. Эти остатки полов из цокольных этажей они заготавливают заранее как снаряды для тяжелой артиллерии. Теперь, когда стены и потолок развалены, начинается главное.

Изо всей силы, стараясь, чтобы куски плит падали не ребром, а плашмя, они обрушивают их на сырые грибы с опущенными узкими шляпками и бледными длинными ногами – и бьют до тех пор, пока оттуда, где лежат грибы, уже ничего не вылетает и не брызгает.

Потом, внимательно осмотрев место бомбардировки, разобрав перемешанные с землей осколки камней, сплюснутую в плоские узлы проволоку и искореженные жестянки, они находят кое-где на кирпичных обломках мокрые темные пятна и грязные ошметки грибов – и тогда уже спокойно уходят домой.

Так проходит много, много дней. Они бомбят семейный бункер Гитлера весной, в апреле и мае, потом жарким летом, размазывая по серым щекам и лбам пот, чихая от пыли. Они не оставляют там камня на камне, шмыгая носами и надрывно кашляя под нудным осенним дождем, плюнув на промокшие, в грязи, штаны и коченея в первые заморозки, когда лед, которым уже затянуты ямы и лужи в развалинах, с треском проваливается под ногами, а подходящие куски кирпичей и плит нужно выдирать из земли посиневшими руками или выламывать какой-нибудь железной трубой.

Ничто не может их остановить, они уверены, что так все будет и после зимы, когда растает снег.

И вот зима кончается, и снег почти весь стаял. Они собираются опять отправиться на бомбардировку бункера, чтобы опять смешать с землей и Гитлера, и его жену, и их генералов со стражей и слугами. Этому никто не может помешать. Все будет как всегда.

И они равнодушно соглашаются пойти с отцом кого-то из своей неразлучной четверки на новую картину «Падение Берлина» в деревянный кинотеатр, построенный немцами, когда те занимали их город.

Они идут туда, ничего не подозревая. И там они видят, как Гитлер и его Ева Браун сперва отравляют свою овчарку пирожным с ядом, а потом убивают себя.

Выйдя из кинотеатра, они растерянно молчат. Теперь неизвестно, что делать дальше. Они думали, что сразу после кино отправятся на свое привычное место и после долгой завальной зимы наконец опять со знанием дела будут сооружать подземное укрытие, чтобы долго убивать в нем Гитлера с женой. Но те только что убили себя сами – это все видели в большущем темном зале.

Тянутся дни, недели. Больше они не ходят на свои бомбардировки. То, что они увидели в кино, прямо-таки стоит перед глазами. Значит, все так и было? Но им ведь тоже кое-что известно про смерть гадюки Гитлера с женой в подземном бункере – это происходило на их глазах. В кино такое вряд ли кто увидит.

ЗАПАХ ТРАВЫ

(Футбольный рассказ)

Что было – то было, и незачем об этом говорить. Какой смысл ворошить прошлое? Ну что из того, если, оказавшись на минском динамовском стадионе, представишь его чашу снова полной до краев и снова будто почувствуешь, как глоснешь от рева тридцати с лишним тысяч голосов? И что толку повторять в памяти, как, например, мечется черной пантерой перед сеткой своих ворот у Южной трибуны Владимир Маргания, вратарь гостей – тбилисского «Динамо» – пока не бре-

дет, опустив голову, за лежащим в дальнем углу мячом – 3:2 в пользу хозяев поля...

И что изменится, если опять увидишь мысленно, как «Эдик», Эдуард Стрельцов, уже тяжелый и лысеющий, словно бы равнодушно простоявший всю игру, вальяжно разворачивает корпус и, держа мяч будто привязанным к ногам, в ленивом и непостижимом ускорении выходит в жутком одиночестве к воротам цепенеющих минчан и – низом, влево от себя, впритирку к штанге, – не берется...

Или вот Игорь Нетто, длинношей, прозванный «Гусем», занудно корящий своих спартаковцев с начального и до финального свистка, махнув на всех рукой, впрягается в телегу сам у центра поля и с придыханиями, со вздувшейся на шее веной, зигзагами, как в слаломе, проходит в глубь штрафной и подает на блюдце мяч под завершающий удар; – а после гола, даже не вскинув рук, идет назад с измученным лицом и укоризненно сутулясь...

А «Лева» – Яшин Лев Иванович? Апрель в Минске холодный, и московские динамовцы в пальто, гуляют у гостиницы и узнают, что Коман в Киеве забил победный гол; Яшин бросает снисходительно: «Стоять два тайма возле штанги – и не забить?» Назавтра курит свой «Беломор», пока играет дубль, а выйдя на поле, вскоре взмывает вверх, оставив далеко ворота, летит и падает, не выпуская мяч из цепких рук...

Разве можно воскресить все это, даже если и помнишь в мелочах? Но разве можно забыть то время, когда в центре Минска футбол всегда был слышен так, точно его транслировали с «Динамо» на полной громкости, только без комментатора? Тот, кстати, многим из нас был бы и не нужен. Потому что в общих чертах мы могли читать игру и так, на расстоянии, по гулу или молчанию стадиона. Это совсем нетрудно, если сам играл и рос тут, в центре города, если и город рос на твоих глазах из послевоенных руин, и если твой футбол начи-

нался на расчищенных в этих руинах площадках. И если бы кто-нибудь попросил рассказать о футболе тех времен, то, наверное, можно было бы попробовать.

Рассказать о футболе? Но это же все равно, что рассказать о своей жизни, пусть она в футболе никогда не шла. Просто футбол, как все живое, яркое, азартное, вращался в нее, как и у многих, еще с далеких детских лет.

Он навсегда в ней и остался.

Остался двор начальной школы на узкой и короткой улице, где зимой большим мячом играли взрослые, а весной и осенью с жестяными банками и маленькими резиновыми мячами носились первоклассники. И солнечным майским утром старая директорша Мария Соломоновна – сгорбленная, с седыми прямыми волосами до плеч – выстроила нас в этом дворе перед началом уроков и прерывающимся радостным голосом закричала: «Дети, война кончилась! Поздравляю вас с великой победой! Идите домой!»

Но мы домой не пошли, потому что прямо сейчас, в восемь утра, уже можно было начинать свой футбол – а такой удачи еще не бывало.

Недавно я зашел в тот двор – он еще существует, как это ни странно. Конечно, ничего уже и в помине от тех времен – ни здания школы, ни пристроек. Только все те же каменные тумбы забора вдоль тротуара (не может быть, чтобы и доски были те же самые!) Но среди деревьев на невероятно сжавшейся площадке я узнал черные стволы лип, служившие нам некогда воротами, и стал между ними. Метр вправо, метр влево – а каким большим было когда-то это расстояние в моих первых в жизни футбольных воротах, где девчонки мешали играть, приставая с вопросами, какая балерина лучше – Лепешинская или Уланова...

Остался в памяти и тот серый, безветренный день, когда мать сказала с улыбкой: «Попробуй», – и я побежал от фанер-

ной трибуны по черной гаревой дорожке к большим – настоящим! – мячам на краю поля и с разбега ударил ногой по одному из них. Нога заныла, твердый, как камень, тяжеленный мяч, откатившись немного, улегся в выбоине, а я оглянулся с таким чувством, будто меня обидно обманули, но еще более неприятным оказалось то, что игра ведется не всеми, а только одним мячом.

Это было в парке имени Горького, на стадионе «Пищевик». Тут несколько лет назад можно было нам под настроение, за пять тысяч, ударить по футбольному мячу, измерив силу своего удара.

Это там я когда-то увидел задумчиво стоявшего у кромки пустого, в лужах, поля Юрия Бельзацкого, знаменитого пианиста из джаза Эдди Рознера, композитора, в светлом плаще, с сигаретой – и каждый раз вспоминаю это, когда слышу в рознеровском «Сан-Луи» рояль Бельзацкого, его неподражаемые, сильные, будто внахлест удары по клавишам.

И это в том же парке, в аллее, идущей от моста к стадиону, я когда-то впервые увидел и узнал настоящих футболистов не на поле. Это были игроки команды минского Дома офицеров – они сидели на своих чемоданах, в специально пошитых для них спортивных костюмах и перекусывали, а рядом в огромной сетке лежали большие тугие мячи. Эти люди шутили и смеялись, с ними была девушка, и все имели тот беззаботный, праздничный вид, который указывал на их принадлежность к какому-то необычному, яркому миру, счастливо удаленному в нашем разрушенном послевоенном городе от всего будничного, скучного; в их облике была некая избранность, признаки которой с тех пор и стали замечаться мной в артистах, джазовых музыкантах и, конечно же, знаменитых игроках из футбольных команд Москвы и Киева, Ленинграда и Тбилиси.

О эти времена «Пищевика»!.. Гроздья болельщиков на тополях у полуразрушенного велотрека. Конная милиция во

главе с известным всему городу рыжеусым капитаном «Лео» Гинзбургом. И мой дед, художник, с большущей папкой, проводит нас через контроль: «Мне нужно сделать зарисовки», – а стадион уже дружно кричит: «У-уух!» – вратарю сталинградского «Трактора», выбивающему мяч в поле.

Время «Пищевика» рождало и своих героев, и свои легенды. Это здесь, например, играл хорошо известный минским зрителям Евгений Котов, который умудрялся добывать право на пенальти, начиная падать на линии штрафной площадки и приземляясь чуть ли не у 11-метровой отметки. И ходили даже слухи, что потом кто-то видел его уже в команде «ВВС», созданной сыном Сталина...

А вратарь Борис Кочетов, тоже одно время выступавший за минское «Динамо»? Со шлейфом прежней московской известности, с осанкой стареющего льва, любимца публики, он подбегал к первым рядам отдать поклонницам букет, полученный от соперников перед игрой, и, случалось, едва успевал стать в ворота, как уже приходилось с недоуменным видом доставать мяч из сетки.

Здесь, на скамейках старенького стадиончика, а может быть, где-то в глухих дворах первых послевоенных лет, по вечерам («В шесть часов вечера после войны» – был такой фильм) кто-то рассказывал захватывающие истории про довоенную неведомую жизнь, красивых женщин – ну, и, конечно, про футбол... Про вратаря, которому никто не мог забить гол, и про то, как однажды самый страшный форвард «Черных буйволов» бил в его ворота пенальти.

Вышел он к мячу, а на правой ноге у него, под коленом – черная повязка: смерть вратарям. «Уйди из ворот – убью!» Но не дрогнул отважный голкипер. Поплевал на перчатки и приготовился. Неимоверной силы пушечный удар – прямо в него. Намертво взял мяч вратарь и замертво упал перед воротами. Мяч проломил ему грудь и, наполовину вдавленный в нее,

остался там, прижатый руками смельчака. И когда его хоронили, этот мяч лежал на обтянутой свитером груди непробиваемого вратаря, и руки в перчатках все так же крепко обхватывали его.

Обе команды шли за гробом в полной футбольной форме – свои и противники, «Черные буйволы». Последним у них, опустив голову, шел форвард с черной повязкой на правой ноге. Какое-то время он еще играл и даже пробивал 11-метровые, но правой – уже никогда. Не то чтобы ему запретили, нет, правила не переделаешь. Он сам не захотел, просто не мог после того и все, это же было ясно – только какой-нибудь дурак мог не поверить и о чем-то спрашивать, а нам так даже в голову не приходило...

С весны до поздней осени каждый вечер «Пищевик» заполнялся людьми, и каждый вечер шли тут подряд две-три игры – детей, юношей, взрослых. Здесь можно было встретить кого угодно и что угодно узнать. Это был и стадион, и городской клуб болельщиков, и место свиданий – все вместе. В общем, то, без чего нельзя было представить тогдашний образ жизни города.

А потом началась эпоха нынешнего «Динамо»: сперва построили амфитеатр и ложу Западной трибуны, затем постепенно – остальные, чаша замкнулась. А легкая стройная арка еще раньше встала у входа. Она видна с главного проспекта города, от громадного здания комитета безопасности, с башни которого, как шутили раньше минчане, можно за стадионом легко увидеть Магадан. С этого здания с колоннами без вывески, которое приезжие принимают за театр, и начиналась послевоенная застройка центральной части Минска, и стадион все шире расстраивался в те же годы. На нем динамовская команда и тренировалась, и играла, и машину ее тогдашнего всесильного шефа Лаврентия Цанавы привычно унавали у ступеней главной трибуны, пока он не исчез – и кажется, еще раньше, чем его московский тезка Берия...

Так рассказать о футболе тех лет? Нет ничего легче. Надо только отделить его от всего остального – от общего колорита и духа менявшегося времени, примет городского быта, судеб множества людей, радостей и горестей возраста, от всего, что осталось с тобой навсегда.

А как это сделать?

Как быть с самым памятным музыкальным фоном того времени: звуки пианино из открытого окна, за которым она разучивает гаммы – и стук твоего мяча о двери сараев, лязг висячих замков и, наконец, звон разбитого стекла?

И как рассказать о тех чудесных, ни с чем не сравнимых поездках с маминым театром во время летних гастролей, когда жизнь театра была неотделима от жизни незнакомых больших городов, и стадион с футболом в каждом из них был понятен и привычен, как театральные дворы или лабиринты закулисных помещений?..

В Киеве очень уютно было на «Динамо» в парке над Днепром, где мы обедали в ресторане с тем же спортивным названием и где зал с возвышениями и никелированными поручнями напоминал палубу.

В Харькове, на «Локомотиве» инвалиды в колясках смотрели игру, заезжая прямо на легкоатлетический сектор, а на Сумской улице болельщики собирались у репродуктора, слушая радиорепортажи о матчах своей команды в других городах.

В Донецке, кроме обычных четырех трибун, была всегда плотно заселена еще одна, за территорией стадиона, – обращенный к нему склон террикона.

В Одессе, в Приморском парке, с верхних рядов трибун было видно море.

А в Москве первое, что удалось увидеть, был матч «Динамо» – ЦДКА, и даже сейчас еще хорошо слышно, как динамовский капитан Семичастный властно кричал судье после аута: «Белые, белые бросают!» Там же, в Москве, на асфальто-

вом дворе гостиницы «Балчуг» в Замоскворечье, мы, дети белорусских актеров, сыграли свой первый междугородний матч с местными ребятами, усиленными двумя грузчиками. И, вернувшись домой, в тогдашний «Гранд-отель» на площади Революции с поврежденной челюстью, я грустно слушал бой курантов на Спасской башне, чья звезда была видна в синем вечернем небе.

Что же, рассказывать и дальше?

Но пусть бы мне самому кто-нибудь рассказал о том, что заставляло нас тогда бегать на стадион с чемоданчиками, порой не успевая и пообедать, с упорством сражаться под проливным дождем на раскисших, без травинки, полях, ездить по другим городам в крытом кузове грузовика и умываться у водонапорных колонок?

Один приходил на игру из своей обувной мастерской, другой – из студенческой аудитории, третий – с телефонной станции, четвертый – с обойной фабрики или маргаринового завода.

Что нас вело, что притягивало?

И пусть бы кто-нибудь взялся сказать, будут ли еще дни, когда мы вновь попадем в бурлящий, яростный круговорот стадионной жизни? Когда она, втянув нас в себя еще на дальних подступах к трибунам, возле касс, больше уже не отпустит, со всех сторон будет теснить, нести, ахать над ухом, обмирать и ярко мельтешить до ряби в глазах?

Будут ли еще дни, когда эта жизнь снова радостно взбудоражит, и снова почувствуешь какой-то бешеный напор неясной, непонятной новизны, когда что-то мечтается, мгновенное, летящее, что-то зовет, и ощущаешь сладкую тревогу, решительность, и для всего открыт и смел?..

Будет ли еще так, что в нижних рядах трибун, поближе к полю, опять со знакомым волнением услышишь холодноватый резкий запах сочной травы, раздавленной ногами игро-

ков, а полукруг дальних трибун напротив поплывет в синеватой папиросной дымке уходящего дня, хотя предвечернее солнце еще ярко золотит верхушки тополей над краем стадионной чаши?..

Так будет это – или уже нет? Кто знает? В конце концов, футбол – игра, которую остановить нельзя. И возможно, что все идет своим чередом.

Жаль только, что так быстро летит время. И уже почти никто не помнит, как в минском матче одного из тех далеких сезонов москвич Сергей Сальников нанес удар такой силы, что мяч мгновение будто висел на сетке, как приклеенный... Но и минчане часто были хороши. Изматывал защитников несуетливый, умный Анатолий Егоров, забивавший, наверное, чаще всех в команде вместе с коварным Николаем Шевелянчиком. Порою просто издевался над соперником в обводке хитрый и хрупкий Борис Курнев. Бросался тигром в ноги нападавших ставший минчанином после Москвы заслуженный и легендарный Алексей Хомич.

Вообще, какие были времена – какие люди! Кто только к нам ни приезжал, кого только нельзя было увидеть возле футбольной всесоюзной резиденции – гостиницы «Беларусь» напротив стадиона, чьи коридоры, лестница и холлы еще и теперь удерживают в себе что-то от тех времен Империи Большого Футбола.

Стоит туда войти, как у лифта уже мерещится энергичная и беспокойная фигура Яши Цигеля, известного в московских и минских футбольно-хоккейных кругах авантюриста, администратора и тренера, преферансиста и бильярдиста. И кажется, что вот-вот оттуда опять легко сбежит по ступеням элегантный, в темно-синем костюме Константин Бесков со своим неизменным прибором во влажных после душа волосах – чтобы купить папиросы в гастрономе за углом. И тут к нему, конечно, обратится со своим сакраментальным вопросом тог-

дашний старейшина минских футбольных фанатиков горбатый Аркаша в железнодорожной шинели:

– Скажите, почему мы проиграли?

И Бесков, не раздумывая:

– Нет ведущих игроков.

И еще долго, почти до темноты, будет топтаться и бродить Аркаша у гостиницы и бормотать себе под нос: «Ведущих игроков?.. А Цыбин?..»

Этот несносный старик Аркаша – где он и что он теперь? А все остальные? Многие уже ушли навсегда. И стремительный правый крайний сборной Союза Игорь Численко, после матча направлявшийся с минскими друзьями на короткое, перед вечерним поездом в Москву, застолье с пакетиками всего необходимого из того же гастронома в здании гостиницы? И грузный Сергей Ильин, помощник тренеров московского «Динамо», к которому Аркаша на ступенях гостиницы подступался с требованием:

– Признайтесь, вы же едва ноги унесли, вас только Яшин спас!

– Да, только Яшин, – отвечал Ильин, чтоб тут же улизнуть.

А Яшин уезжал в тот вечер из Минска один в купе – до того заругал своих после игры, что никто не хотел быть его соседом. Давно, давно это было, еще до того, как в Лужниках, после матча СССР – Австрия ему кричали, когда он с женой садился в свою «Волгу»: «Леву – на Цветной бульвар!» (А на Цветном бульваре в Москве — цирк.)

Всего не вспомнишь и не перескажешь. Да, надо жить – не надо вспоминать. А если уж что-то припомнить под конец, так лучше то, как в детстве, живя в Минске, я играл в московском «Динамо» – вместе с Трофимовым, Соловьевым, Карцевым и, конечно, Хомичем в воротах; и не надо спрашивать, каким образом, я и сам не знал, но ни минуты в том не сомневался. И это вместе с ними я совершил тогда то знаме-

нитое турне по Великобритании, когда мы победили «Кардифф-сити» – 10:1, «Арсенал» – 4:3 и сделали ничьи с «Челси» – 3:3 и «Глазго Рейнджерс» – 2:2. Ни дома, ни в школе никто ничего об этом не знал. Разве что во дворах кое о чем догадывались. Так ведь не обо мне одном: названия тогдашних знаменитых команд, фамилии известных игроков были нашими названиями и фамилиями. Их мы знали лучше таблицы умножения.

Да, что было – то было, и незачем об этом много говорить. Во всяком случае – ни слова больше о футболе тех времен. Договорились?

РАЙОННАЯ ИДИЛЛИЯ

Солнечным и безветренным утром ослепительно, до рези в глазах блестит февральский снег. Безоблачное голубое небо похоже на весеннее. Светится сам воздух, и каждая его частица, кажется, неподвижно зависла, стоит на месте в невесомости, в сиянии белых полей, когда автобус плывет среди них, покачиваясь, то снижая, то увеличивая скорость. И если смотреть в окно на снежный наст против солнца, видно, как он кропится дождем искр, похожих на золотые гвозди.

После Корелич дорога начинает все чаще нырять и тут же круто лезть вверх, по обеим сторонам идет лес, и, наконец, на таких же горках, что и дорога к нему, открывается Новогрудок.

Грудок маленьких каменных домов, тесно сошедшихся в петляющих улочках вокруг площади – это старый город, он как-то недоуменно жметя перед открытым пространством с множеством магазинчиков, киосков и ларьков, а издали со всех сторон подступают высокие новые кварталы.

Вечером, когда зажигаются огни, все это полно настроений своей городской жизни. На улицах много людей, слышна смешанная белорусско-русская речь, в обрывках шуточных разговоров звучат и польские слова.

Скрипят и бухают в переулках двери местных учреждений, кружат по площади грузовики, взлязгивая цепями на задних колесах, возле столовой и закуской в морозном воздухе густо тянет пивным духом и табачным дымом, в полузатемненном окне нового пятиэтажного дома тонкая фигурка льнет к чьему-то массивному плечу, а у здания музыкальной школы слышны медленные звуки пианино.

Все это увиделось и услышалось не сразу, спустя несколько часов после приезда, а в первые минуты было одно только чувство покоя и уюта незнакомой и какой-то замедленной, плавной жизни.

Из окна кафе в гостинице был виден угол низкого розоватого здания бани с облупившейся штукатуркой и выступающий из-за него круп впряженной в сани лошади, будто приколотой свисающей перед окном длиннющей сосулькой. А мимо саней идут, держась за руки, солдат и девушка: ее голова опущена, а свободная рука то весело помахивает в воздухе варежкой, то вдруг смиренно опускается, боясь спугнуть близкую радость.

Вечером на городской площади опять слышны в холодном безветренном воздухе спокойные неспешные разговоры, смех. Освещенные изнутри окна аптеки затянуты листьями морозного папоротника. А в небе, в темной синеве четко и близко стоят тонкие золотые рожки молодого месяца и угадывается лежащий в них, будто заиндевелый, кружок.

Пищит плотно утоптаный снег под каблуками прохожих, мужчины в кожных сгрудились возле подвальчика с вывеской «Бар» и кажется, что видишь, знаешь все это уже давным-давно.

Назавтра опять почти пустой автобус, серый день и остановка на маленькой площади в Новоелье с холодным книжным магазинчиком, где в углу, кутаясь в шубу, сидит красивая молоденькая продавщица, не ждущая никаких покупателей.

А потом в вечерних теплых огнях уже плывет мимо автобусных окон Слоним.

Утром это городок, центр которого остается прежним, несмотря на все новостройки вокруг: прижавшиеся друг к другу магазинчики, нешумно и неслышно текущие по расчищенным от снега узким тротуарам цепочки горожан со спокойными и улыбочивыми лицами, постукивание дверей, мягко приглушенное снежными валами вдоль улиц...

Сколько раз в детстве доводилось слышать, как кто-то из взрослых говорил: «А-а, это уже Западная...» Или: «Они из Западной приехали...» И вот она теперь перед глазами, западная Беларусь, какая-то внешне спокойная, несуетная, со своим порядком и будто бы давно и хорошо знакомая.

А Браслав? Высоченные холмы над озером, желтые песчаные круги, поросшие молодым ельником, вересковые или моховые, будто ковровые, полянки на высоких берегах. И ветреный, но солнечный воскресный день с ярмаркой в базарных рядах на окраине города: вышитые полотенца, рушники, сыры, дядьки в свитках с широкими хлястиком на спине, аккуратно повязанные теплыми платками старушки, а вечером – компании молодежи в местном ресторане, негромко напевающие с постукиванием в такт вилками по краям тарелок... И кто-то объясняет, что у них так принято, заведено, но объяснять тут ничего не нужно, просто все видишь и все принимаешь, потому что нравится: да, Западная – и теперь ты здесь...

В ОКНЕ СЦЕНЫ

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

Впервые увидел его в театре на Таганке, в главной роли в спектакле «Галилей». Он обливался там водой до пояса, молодой, хорошо сложенный. Потом в пустом вагоне метро уселся напротив парень в летней рубашке с короткими рукавами и

уткнулся в толстую книгу. Я узнал Галилея – Высоцкий не гримировался в этой роли.

Мелькали станции, а Галилей московский все покачивался и читал. Подумалось: хороший малый, вот отработал, яростно, с нутряными выкриками – и теперь тих, сосредоточен, весь внутри себя.

Лавина времени сошла куда-то с той поры. И сколько б ни надсаживался он в своих выматывающих душу песнях, сколько б ни рвал голос и аорту, Высоцкий для меня останется все тем же, с лицом спокойным и склоненным к книге. Так он и едет в моей памяти в пустом вагоне. И еще холодноватый запах электричества: да, позднее, безлюдное, по направлению к вечности метро.

АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ

...Будто сжигало его что-то изнутри, сдержанный в жестах, закрытый весь, натянутый, точно струна. Лицо нервно-напряженное, и смуглое и бледное одновременно, и желтизна, будто от никотина. Иссиня-черные, с вороньим отливом волосы и черные глаза.

В тесном зале минского Дома работников искусств тихое столпотворение. Все знают: его «Андрей Рублев» увяз в «Госкино»; выйдет ли на союзные экраны, неизвестно.

Его представили:

– Андрей Тарковский.

Гром аплодисментов. Он – ни поклона, ни улыбки:

– Сейчас вы увидите нашего «Рублева». Потом я постараюсь ответить на ваши вопросы. Только прошу вас, не спрашивайте так: а что вы хотели сказать своей картиной? Все, что вы увидите, вот это мы с оператором Вадимом Юсовым и хотели сказать. И тут только одна, может, десятая того, что мы хотели...

И опустил глаза... Что-то не нравится ему – то ли в собравшихся, то ли в самом себе.

После просмотра никакого разговора не было. Ушел.

МИХАИЛ УЛЬЯНОВ

«Похож на тренера канадских хоккеистов, – подумалось, когда он вышел к нам, – только резинку не жует». Отлично сшитый светло-синий костюм, галстук. Немолод, кряжистый, на широко расставленных крепких ногах. И крупный, твердый подбородок, желваки на скулах, складки на лбу. Что-то матерое в лице, во всей фигуре. Глаза искрят энергией и жизнью. Жадность к общению с людьми.

Все это прочиталось сразу, как он появился на тесной сцене в зальчике для театральных встреч. И сразу же повел этот свой вечер в Минске, будто уже давно здесь – он, Ричард Третий из Шекспира, кино-Председатель, маршал Жуков, булгаковский белогвардейский генерал Чарнота...

Сказал, что почти напрямиком сейчас из Непала, где «и непалки, и непальцы». Потом насупился, набычился и стал работать:

– Я прочитаю вам рассказ Василия Шукшина.

В рассказе издевалось над больным в больнице мелкое советское хамье, и Михаил Ульянов едва сдерживал себя. Жил в том, про что читал. А когда выдохнул в конце: «Что с нами происходит?» – его глаза уже переполняли слезы.

АРТУР МИЛЛЕР

– Артур Миллер, знаменитый американский драматург? Ну как же, знаем, – говорили мы еще в советские времена. – Конечно, «Смерть коммивояжера», «Все мои сыновья»...

«Как я тут оказался и зачем?» – этот вопрос словно написан был у него на лице. Стоял, будто не мог решить, куда идти,

что делать дальше, поглядывал в окно. В приемной руководства белорусского писательского союза мелькали люди. За окном кончался день минской зимы. Делегация американских писателей возвратилась из Хатыни. Но, чувствовалось, не об этом думал сейчас заокеанский драматург. Стоял, ни на кого не глядя, не спешил. Так замедляются движения у людей, когда они оказываются вдруг наедине с собой в сутолоке, в толпе.

Очень высокий и прямой, седой, с залысинами над морщинистым лбом, в профессорских очках, остроносый. Одет по тогдашней моде творческих людей: джинсовая рубашка, пиджак в серую «елочку», с замшевыми нашивками на локтях и широкие, по возрасту, но модно потертые джинсы.

Мелькнуло: когда идет к восьмидесяти, в своих Штатах не усидят. Летят хоть на край света. За впечатлениями, за жизнью, чтобы свою как-то продолжить. Бывший муж Мэрилин Монро, которую мы когда-то впервые видели на фотоснимке – в ванне из кофе...

Нет уже и его. Недавней, последней книгой у него были «Наплывы времени». Может быть, их и видел старый драматург там, у окна, под вечер в минском Доме литератора?

ЭДДИ РОЗНЕР СО СВОИМ ОРКЕСТРОМ

Так объявляла тогда афиша на подступах к Дому офицеров, на проспекте имени Сталина, когда самого «вождя народов» уже не стало.

Эдди приехал тогда в Минск как старый, еще довоенный знакомец, заслуженный артист БССР. На входе, в левом крыле Дома офицеров – давка, крики, кто-то божится, что сейчас будет стрелять. Балкон в театральном зале едва не обваливается, такая там толпа. Счастливицы сидят на коленях у знакомых.

Загрохотало, заиграло еще за светлым занавесом. Он поднялся: все музыканты в белых пиджаках и темных галстуках, рты растянуты в ослепительных улыбках.

«Смайлинг! – командует незаметно Рознер по-английски.
– Улыбаться!»

Вот они все живьем, «в натуре». Саксофонисты, трубачи и скрипачи. Евреи из Варшавы, Львова, Белостока, прибалты, русские. Прошла война. Все они в конце 30-х избежали смертной участи, спаслись в СССР, многие пережили войну... Остался позади у Рознера и магаданский лагерный барак, где урки сначала проиграли Рознера в карты, но его выкупил пахан, а потом всемогущий царь Дальстроя генерал Никишов решил занять свой, лагерный джаз и тем еще раз спас Рознеру жизнь. И иногда з/к Рознер мог позволить себе насвистывать в холодном бараке, появляясь в шелковом халате с чашкой кофе, сигаретой и, сверкнув золотой «фиксой», иронически бросать таким же крепостным артистам: «О'кей!»

Теперь в минском Доме офицеров он играл на золотой трубе свой «Голубой прелюд», играл золотым перстнем на руке. Из партера поднимался на сцену давний его пианист и композитор Юрий Бельзацкий, садился к роялю и солировал в «Сент-Луис блюзе».

А потом танго «Жду» – и мягкий голос Рут Каминской, жены Рознера. А потом «Прощай, любовь». Ну и, конечно: «Тиха вода бжеги рве». Все оркестранты подпевают, Эдди Рознер тоже. Всем в зале хорошо – и кажется, что так вот будет и всегда...

НЕБЕСКИЕ МИГДАЛКИ

ФОНАРИ

– Опять витаешь в облаках?
– Спустись на землю, наконец! Делом займись. Небесные мигдалки ищешь?

Только и слышишь. Вот уже сколько лет!

...Если прищуриться, глядя в заиндевшее окно троллейбуса, миндалины вечерних фонарей становятся пушистыми, мохнатыми. Точно такими, как давным-давно те матовые шары в скверах сквозь гриппозные слезы.

И шарканье вечерней толпы по асфальту...

Гул стадионной чаши в люминесцентном свете прожекторов...

И запахи вокзального перрона вечером:

дымов вагонных печек и угля,

дымков от сигарет,

нагретого за жаркий день асфальта, политого только что дождем...

А днем – глядеть, скорей глядеть на облака и ничего не делать, только смотреть на облака и не стараться о чем-то думать, что-то там решать, спешить, лететь куда-то.

И без того уже летишь: взгляни на облака.

НЕМИГА

Если весь мир – театр, как кем-то сказано, то сцена – и твоя улица, и двор, любое место в любом времени, в любой стране, которое ты видел.

...Немига шестидесятых прошлого столетия, тесная, чуть смешная старенькая улица. Свои традиции, неспешные дневные разговоры на углах, у магазинов. Бесчисленные, лепящиеся друг к другу мастерские. Что только в них ни ремонтируют: электробритвы, плитки, авторучки, арифмометры, стиральные машины, примусы. И что только ни продается: сорочки, галстуки, часы, браслеты, кольца, пуговицы, обувь, тазы, кастрюли, рыболовные крючки.

А дальше – магазин комиссионный, гастроном. Машины тут едва проходят в два ряда. Но скверик – две скамейки, три-четыре тополя, газетный стенд – здесь тоже есть.

Вечером узкая улочка пуста и тиха. Почти домашний желтоватый свет от простеньких фонариков. Сосульки под балконами второго этажа можно обламывать, едва подняв руку. Редкие прохожие, ставни нижних окон на задвижках. Угрюмые со сводчатыми потолками въезды во дворы. Дворы темны, загадочны, в них притаились тени.

Крошечные елки в витринах маленьких магазинов, в окнах домов. Зеленые огоньки такси и большущий серебристый кузов с надписью «междугородные перевозки». Современные нарядные портьеры в старых окнах и бочки маляров во всех дворах (ремонт, везде ремонт). Здесь, на Немиге, похоже, как нигде, все очень заняты, снуют туда-сюда, чем-то заботятся – никто тут не витает в облаках, конечно.

У ОМУТА

...«Улица, где радио» была прекрасна.

Зимой прямо на площади Свободы садились в санки и съезжали вниз до Комсомольской. Летом то же самое проделывали на самокатах.

Летом узкая, с наклоном улица нагревалась от солнца и синела от дыма машин. Людей здесь всегда ходило много, – во-первых, потому что здесь было «радио», или радиокомитет, как говорили взрослые; во-вторых, напротив стояло кино «Родина».

В то время, кроме «Родины», в городе были еще «Первый» и «Беларусь». Но они казались очень далекими для тех, кто жил «в центре».

В «Родине» самыми лучшими местами считались лестница и последний ряд зала. Лестница была крутая, как стремянка, но зато потом, когда все поднимались на площадку, открывался чудный вид: огромная, во всю стену картина Левитана «У омута».

В зале последние ряды ценились на вес золота. Только с них можно было увидеть весь экран, сидя на спинке стула.

«Родина» показывала фильмы, которые смотрели школы всего города: «Освобождение Белоруссии» и «Взятие Берлина». Каждый залп «катюш» сопровождался криками «ура!» из зала...

Те, кто жил «в центре», учились в начальной школе № 30 по этой же улице. Двор школы просто создан был для футбола. Пенальти били с бугорка. Когда на него ставили банку, вратарь уходил из ворот. После страшного удара носком сапога банка скрывалась за забором и, перелетев Революционную улицу, попадала в полуподвальное окно милиции.

АМЕРИКА

Улица Интернациональная, соседняя с Революционной, «где радио», представала перед всеми в своем истинно городском духе. Такие улицы можно было видеть тогда в кино.

Здесь блестели трамвайные рельсы, изредка даже проходил с лязгом трамвай, на стенах расклеивались афиши кинокартины «Алишер Навои». Над улицей переплетались провода, они держали фонари – обыкновенные лампочки в сто свечей с жестяными крышками-абажурами. Разрушенных войной домов тут было всего три.

Один мальчик, его звали Сергей Филимонов, любил повторять, что это улица большого города, но все и без него так думали. А он приехал в Минск после войны с родителями из Мурманска, и это от него в школе впервые услышали слова: морской конвой союзников, лендлиз и буги-вуги. Он потом стал архитектором, и минский Дворец спорта по его проекту выстроен.

Отец его уже в конце 40-х годов получал журнал «Америка», недоступный простым смертным, и в классе это знали. А Сергей отлично рисовал. Но никакой Америки ему не раз-

решали выносить из дома. И он показывал на переменке свой рисунок:

– Вот Форрестол в ночной рубашке выбрасывается из окна. Сошел с ума от страха: коммунисты, красные идут! Везде в Америке ему мерещились красные ведьмы. А это вот его ночной горшок.

МЕДЕЯ

На Октябрьской площади в Минске, перед колоннами Дворца профсоюзов сооружен высокий помост с лаконичной декорацией-обозначением древнегреческой трагедии. Представление начинают при заходящем солнце. Площадь заполнена целиком, троллейбусы осторожно плывут мимо по вдруг ставшему тесным проспекту.

Двадцатый век хочет увидеть маленькое чудо, перенеся сюда, на сцену с микрофонами, людей и судьбы из века пятого до нашей эры. «Медею» Еврипида в постановке московского театра имени Маяковского заканчивают под синим летним небом при свете кино-юпитеров и армейских прожекторов. Медея с длинными волосами, в длинном черном хитоне никак не может освободиться от длинной, метров в десять, ярко-красной пуповины, что связывает мать с убитыми ею младенцами. Страшная месть неверному мужу губит и обезумевшую мстительницу. Кровная родственная связь нерасторжима, теперь она, словно кровавая веревка, захлестывает Медею, вершит возмездие. Медея гибнет. Торжествует рок.

Люди стоят не только перед помостом, но и позади него. Там, возле автобусов техников, среди протянутых по асфальту кабелей стоит и режиссер Николай Охлопков. Кажется, он не слушает, а только глядит, причем сразу на все: и на сцену, и на площадь. Он, возможно, видит перед собой уже какой-то другой, новый театр будущего. Словом, витает где-то в облаках.

«МЕРКУРИЙ»

—Это русский бриг «Меркурий». Вы знаете, как он отличился в войне с Турцией 1828-1829 годов? О, это был настоящий герой. Им командовал капитан-лейтенант Казарский. 14 мая 1829 года «Меркурий» повстречал у Босфора турецкую эскадру, 14 кораблей. Вы представляете себе превосходство турок в артиллерии? Примерно десятикратное. Перед входом в крюйт-камеру на «Меркурии» был положен заряженный пистолет: в последний момент последний живой на бриге офицер выстрелил бы в бочку с порохом. Так вот, турки ничего не смогли сделать с «Меркурием». Казарский был ранен в голову, но бриг, искусно маневрируя при помощи парусов и весел, все-таки ушел от противника, имея 22 пробоины в корпусе и 297 повреждений в рангоуте, парусах и такелаже. В «Боевой летописи русского флота» приведены слова турецкого штурмана, очевидца подвига «Меркурия»: «Произошло дело неслыханное и невероятное — мы не могли заставить его сдаться»... Да, это был героический бриг... Вот он сейчас над моим рабочим столом. Выполнен точно по чертежам, которые я раскопал в одном из справочников.

За окнами квартиры Игоря Петровича Малютина мартовские сугробы на тихой улице. Зубной техник, большой знаток истории морского флота, страстный судомоделист, он всю жизнь живет в Бресте, и всю жизнь он — в море, под парусами всех широт, в общем, витает в облаках.

Литературно-художественное издание

Станюта Александр Александрович

Городские сны. Трофейное кино

проза

В оформлении обложки использована картина
художника *Олега Сидорова «Старая, старая сказка»*

Ответственный за выпуск *Т.А. Фалалеева*
Компьютерная верстка *В.И. Скрипник*
Дизайн обложки *О.В. Казак*
Корректор *Н.Н. Зенюк-Петровская*

Выход в свет 30.10.2012
Формат 60x90/16. Гарнитура Times.
Уч.-изд. л. 29,92.

Совместное общество с ограниченной ответственностью
«ИПА «Регистр»
ЛИ № 02330/168 от 08.04.2009.
Ул. Новаторская, 26, 220053, г. Минск.
Тел./факс: (10-375-17) 286-06-08, 290-16-42
<http://www.profmmedia.by>